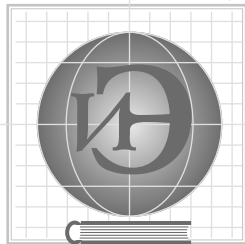


Российская академия наук



Институт экономики

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

Е.Л. Маневич

**Воспоминания о Родине,
войне и мире**

МОСКВА
2016

ББК 65.02

М 23

Маневич Е.А. Воспоминания о Родине, войне и мире / Под редакцией Т.Е. Кузнецовой. – М: Институт экономики РАН. 2016. – 244 с.

ISBN 978-5-9940-0531-6

М 23

Автор книги, Ефим Львович Маневич, доктор экономических наук, профессор, в течение пятидесяти лет был одним из ведущих научных сотрудников Института экономики АН СССР (ныне РАН), опубликовал 26 книг и брошюр, около 200 статей, в том числе по острейшим проблемам экономики, был организатором Института труда, научным руководителем нескольких десятков аспирантов и докторантов.

В 1941 году Е.А. Маневич добровольно ушел на фронт в дивизию народного ополчения и прошел дорогами войны от Москвы до Венгрии, начав войну солдатом и закончив её гвардии майором. Награждён четырьмя боевыми орденами и шестнадцатью медалями.

В этой книге, которую он назвал «Воспоминания о Родине, войне и мире», рассказано не только о жизни автора, о наиболее интересных встречах и беседах с некоторыми руководителями государства – Л.М. Кагановичем, А.И. Микояном, Д.Т. Шепиловым, с известными учёными, среди которых С.Г. Струмилин, К.В. Островитянов, Б.М. Кедров, А.И. Абалкин, Я.А. Кронрод, Я.А. Певзнер, И.А. Раппопорт, с поэтами Борисом Слуцким и Давидом Самойловым, но и о других интересных событиях, свидетелем и участником которых он был.

Ефим Львович Маневич умер в городе Кирият-Шмона (Израиль) в 1996 г.

Редактор благодарит Е.А. Козлову, Л.В. Никифорова и Б.В. Ракитского за уточнение некоторых дат и событий в рукописи Е.А. Маневича.

ISBN 978-5-9940-0531-6

ББК 65.02

© Маневич Е.А., 2016

© Институт экономики РАН, 2016

© В.Е. Валериус, дизайн, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Почему я решил написать воспоминания.....	6
Голинко	8
Лориндорф.....	16
Поезд пришёл в Москву.....	26
Политехникум.....	30
Студент института	36
В наркомате у А.И. Микояна.....	41
Аспирант Академии наук	44
Кандидат наук, старший научный сотрудник.....	54
В дивизии народного ополчения.....	57
В 24 (4 гвардейской) армии.....	86
В Москве послевоенной.....	112
Борьба с низкопоклонством и космополитизмом.....	121
Смерть двух палачей	133
На конференции МОТ в Женеве	138
Институт труда и Л.М. Каганович.....	143
Снова в Академии наук. (Теория и практика).....	157
На пленуме ЦК КПСС, слушая Хрущёва	182
Варшава. Вена. Будапешт	186
Секретарь партийной организации Института экономики.....	195
Годы брежневщины.....	201
Перестройка, реформа, надежды	212
Последний год в Москве	234

ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ НАПИСАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ

Сегодня 8 сентября 1992 года. Через две недели исполнится 10 месяцев с тех пор, как мы с женой покинули Москву и очутились в Израиле. И хотя приезд наш сюда был крайне необходим нашей дочери и внучкам, это событие представляется мне самым тяжелым испытанием в моей жизни. Для утешения я стараюсь убедить себя в том, что отъезд из Москвы совпал с окончанием активной жизни, переходом на пенсию, с кризисами — личным, общественным, государственным, что все, что мог, я уже сделал для своей страны, и даже опубликовал последнюю прощальную статью в журнале «Вопросы экономики», никакого оправдания, никакого утешения не получается. Я чувствую себя так, как, по моему представлению, должен чувствовать себя дезертир с поля боя, если у него есть совесть. А то, что переезд в другую страну совпал с началом жизни пенсионера, делает эту жизнь еще тяжелее. Пенсию я заработал честным трудом там, в России, работая в течение 66 лет. Здесь же я не работал ни одного дня, а получаю пособие только потому, что я еврей. Не знаю как кому, а мне это весьма неприятно.

Мы живем в маленьком городке на севере страны — Кирьят-Шмона. Единственная связь с Россией — кабельное телевидение. Есть у меня русские журналы и книги, которые приехали сюда вместе с нами. Сейчас подумал, что нам, покинувшим свою страну в конце двадцатого века, несравненно легче, чем тем, кто уезжал, когда не было ни радио, ни телевидения и нельзя было ни увидеть, ни услышать, что делается там, на Родине!

Я давно, еще в Москве хотел написать воспоминания. Тогда придумал и название «Мои современники». Но никак не мог начать. Каждый раз передо мной возникали вопросы, а надо ли писать, будет ли моя книга интересна читателям, когда, кто и где будет ее печатать, кто будут мои читатели,

имею ли я моральное право на издание своих воспоминаний, что особенного, выдающегося было в моей жизни, что дает мне право надеяться на интерес к ней.

Но, с другой стороны, я жил активной жизнью все годы советской власти: с 1926 года, когда мне было 12 лет, я стал селькором, а с 1934 года, т.е. почти 60 лет, печатаюсь в различных экономических и философских журналах.

Вот передо мною лежит список моих опубликованных работ – в нем 45 машинописных страниц. В списке перечислены 26 книг, 188 статей и рецензий в различных сборниках и журналах. 21 книга издана под моей редакцией. Многие из этих книг, брошюр и статей переведены в различных странах мира.

Когда началась Великая Отечественная война, я пошел добровольцем в Народное ополчение Москвы и участвовал в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, а потом на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии и закончил войну в Вене. В Австрии уже после войны написал вместе со своим другом и помощником Игорем Венедиктовым книгу «От Сталинграда до Вены». Об этой книге маршал Василевский писал, что она была в числе двух первых книг о войне, но она, как и книга о победе под Берлином, почему-то не понравилась Сталину.

Ровно через пять лет после войны я защитил 9 мая 1951 года докторскую диссертацию и стал доктором экономических наук, а через несколько лет создал и был первым научным руководителем Института труда. В те годы я часто встречался и беседовал со сталинским сатрапом Л.М. Кагановичем, с членами Политбюро А.И. Микояном и Сабуровым.

Потом, как и до войны, много лет работал в центре экономической науки страны – Институте экономики Академии наук СССР.

Так, может быть, мои воспоминания будут интересны?

У меня здесь нет ни нужных книг, ни справочников, ни моего архива. Я могу писать только о том, что сохранилось в моей памяти, правду и только правду.

Вот так, думая и сомневаясь, я решил сегодня начать свои воспоминания о Родине, войне и мире.

ГОЛЫНКО

Голынка — так называлась маленькая деревенька, в которой я родился и где прошло мое детство.

Всякий раз, когда я писал автобиографию, мне было страшно, потому что я должен был начинать ее с таких слов: «Я родился 15 июня 1914 года в деревне Голынка Толочинского района в Белоруссии. Мой отец (а после его смерти и мать) арендовали у помещика маленькую водяную мельницу». Вот эта «маленькая водяная мельница» и была причиной моего постоянного страха и мешала мне спокойно жить, учиться и работать — «арендатор» и «мельница» — признаки плохого социального происхождения. Каждый кадровик или начальник, который читал мою автобиографию, обязательно задавал мне вопрос: «А сколько наемных рабочих было у ваших родителей?» И я, с дрожью в голосе, отвечал: «Мельница была маленькой, водяной, на ней работал сам отец и нанимал одного человека-мельника». — «А сторож был на мельнице?» — грозно спрашивали меня. — «Да, сторож был...». И еще у нас было около трех десятин земли. На ней каждый год мы копали свою картошку, собирали овощи, колосился овес, косили траву, запасали на зиму сено. В хлеву стояли наши корова и лошадь, по двору бегали наши куры, в реке плавали наши утки, а за мною всегда гонялись злые, как мне казалось, чем-то недовольные гуси.

Плохая у меня была биография и плохая анкета, потому что плохим было мое социальное происхождение — эксплуататорским. Наемные рабочие были на мельнице и помогали нам убирать урожай с наших трех десятин земли.

Однако в первые свои детские годы — до тех пор, пока я не решил, как и другие дети, вступить в ряды ленинской организации юных пионеров — я жил весело и беззаботно,

потому что тогда еще не думал о своем происхождении. Мне было хорошо и радостно жить в моей красивой деревне среди добрых и приветливых людей.

Гольинко расположена на большой дороге Москва–Минск. По этой дороге проходили и проезжали во время Гражданской войны «белые» и «красные», немецкие солдаты и беженцы, здесь передвигались цыганские таборы, шли с оркестрами впереди праздничные демонстрации из большого села – Озерцы, и пыхтели первые автомобили, весело с песнями ехали на повозках, а зимой на санях, крестьяне из ближайших деревень в Толочин на ярмарки и возвращались с этих развеселых ярмарок. До Толочина от Гольинки всего три километра.

Местечко Толочин – наш районный центр. Там жили евреи, белорусы, русские, поляки, но больше всего евреи, а среди них много родственников моего отца, а значит, и моих.

Я любил Гольинку. Летом каждое утро меня будило яркое и теплое солнце, а зимой – ждал на улице глубокий и всегда чистый белый снег, крупнейшая гора напротив нашего дома, с которой так приятно было спускаться на круглой ледяшке, вырубленной из замерзшей реки. А какая это была прекрасная река! Она казалась мне, как и все вокруг нашего дома, живой, все понимающей, чистой, ласковой, прозрачной, в ней плавали огромными стаями рыбы и рыбешки, особенно много совсем маленьких рыбок-деток. Все, все вокруг было живое: и эти три березки, что стояли перед нашим домом, – они всегда, то тихо, то громко переговаривались между собой. Просыпаясь по утрам, я бегал к ним здороваться, они отвечали мне, будто ждали меня. Я выбегал босиком, в длинной ночной рубашке. Утреннее нежное солнце, мягкая трава, теплый песок – все они радостно встречали меня.

С горки появлялся мой верный друг Егорка Громько. Он кричал: «Бимка! Пошли купаться!» Бимка – это я. Так меня звали дома, так меня звали все в Гольинке. Мое настоящее имя, данное мне в честь деда, Хаим, никто в Гольинке не

знал. Это потом меня будут под смех огромной толпы учеников средней школы выкликать так, как это было записано в списках — Маневич Хаим. Но это будет не скоро, когда я буду учиться в Джанкое и мне будет 13 лет.

Мой друг Егорка — сын Максима и Циклины. У него есть старший брат Саша. Они все меня любят. У меня нет отца, он умер зимой 1920 года. Я сирота и друг Егорки. На завалинке Максим неторопливо рассказывает мне о том, как он служил в царской армии вместе с моим отцом Евелем в Ревеле (сейчас — Таллинн), и каким хорошим и добрым человеком был мой отец, о том, как их полк торопился встретить царя Николая II, когда отмечался какой-то праздник дома Романовых. Вот тогда-то после долгого и утомительного бега мой отец тяжело заболел воспалением легких, потом часто и подолгу болел и умер так рано, ему было только 45 лет.

К нашей семье в Голынке всегда относились хорошо. Так я думал и чувствовал. Нас у мамы было четверо. Старшему Давиду, когда умер отец, было 15 лет. Он — «пхор», то есть старший, был в нашем доме ответственным, грамотным. После смерти отца маму назначили на ту же должность, которую выполнял отец, — заведующей мельницей. Мама любила читать и немало прочитала русских книг, особенно романы Толстого и Куприна. Но писать она почти не умела. Всю переписку и отчеты она поручала Давиду. Он же взвешивал привозимое крестьянами зерно и брал, как это было положено, с каждого пуда четыре фунта за помол. Вот тут и возникали противоречия у мамы со старшим сыном. Давид, как он мне потом рассказывал, не допускал никакого обвешивания, как и покойный отец. Видимо, маме, очень активной женщине и единственной кормилице семьи, любившей повторять: «Риск — благородное дело», — такая, на ее взгляд, излишняя пунктуальность не нравилась. Правда, в числе ее любимых поговорок была и другая: «Не трожь ничога и не бойся никого». Как-то обе пословицы у нее уживались. Жили мы бедно, одевались плохо. Покупка ботинок для детей была

большим событием, а новые штаны и рубашки не покупались, все это перешивалось из старого, но денег, как оказалось уже после революции, мама накопила. Помню, как долго и плохо горели эти деньги, когда их сжигал в печке Давид. Их было много — «екатериненки», «керенки» и другие. Брат сжигал их со смехом, а мама плакала. Мне было жалко маму, сжигался ее многолетний труд, ее сбережения, ее надежда на хорошее будущее детей.

Нас было трое сыновей и дочь Маня. Я помню, что не дружили между собой Давид и Маня. Раздоры были часто. Они разгорались каждый раз, когда Маня мыла полы, а Давид, не вытирая ног, шел по этим чистым, еще не просохшим доскам. Мне было жалко ее трудов, но старший пользовался своей силой и безнаказанностью. Кроме того, Давид ревновал: он горячо любил отца, а отец больше всех любил Маню и не скрывал этого. Мама больше всех любила меня, самого младшего, и все любили тихого, скромного, умного, доброго брата Цалу, который был старше меня на 4 года. Цала родился с больным сердцем, у него, говорила мама, был «порок сердца». Цала был моим покровителем и защитником, когда в шесть лет меня послали учиться в хедер. В Толочине тогда было несколько больших хедеров, в одном из них учились и мы с Цалой.

Хедеры дрались между собой, бросали в своих противников камни, били кулаками. Цала выводил меня «из-под огня», и мы с ним не участвовали в этих шумных битвах, уходили в свою тихую и мирную деревню, где нас никто и не думал как-то обидеть. Я помню, что за всю мою жизнь меня два раза называли жидом. Так меня назвал Коля Матюшенко: один раз во время игры, а другой просто так, со злости. Было очень обидно, и я заплакал. Мой плач услышал отец. Узнал, в чем дело. Это было поздней осенью, шел противный мелкий дождь. Отец бросился по грязной и скользкой дороге за Колькой. Колька сбежал и спрятался. Мне было очень жалко папу, он уже был болен, и оставалось ему жить несколько месяцев. Вот таким я его запомнил на всю жизнь.

Летом в хедер ходить не хотелось. Жалко было расставаться с лесом, солнцем, разноголосьем птиц. Так хотелось еще и еще поиграть...

В хедере я первый раз в жизни столкнулся с ложью, обманом. Обманщиком оказался сам учитель. Во время занятий, когда я что-то читал вслух в святой книге (что это было тора или танах, я не помню) вдруг на страницу книги упала конфета. Я с удивлением поднял глаза на учителя, а он совершенно серьезно сказал мне: «Это Бог наградил тебя за хорошую учебу». Когда в тот же день я рассказал маме о том, что у меня случилось в хедере, мама сказала, что на днях она эти конфеты оставила для меня учителю.

После этого случая мне стало еще тяжелее ходить в хедер. Когда через год умер Цала, чтобы я не ходил один из Гольнки в Толочин, мама поселила меня в родовом доме покойного деда, в котором жил средний брат моего отца Абрам, унаследовавший дом и землю деда, поскольку он был женат на своей племяннице, дочери старшего брата Исаия. У Абрама было три сына: Хаим, мой ровесник, старший сын, Борис и глухонемой Наум. Я не знаю, на каких условиях я там жил, возможно, что мама ничего не платила за меня. Может быть, поэтому дети попрекали меня и обижали. Особенно было обидно, когда из Витебска приезжала двоюродная сестра и привозила очень красивые книжки с яркими веселыми рисунками. Мне их даже не давали подержать в руках и посмотреть картинки.

Я недолго прожил у дяди Абрама. Мама вскоре перевела меня к тете Гитл, которая жила в самом центре местечка. Тетя была доброй и ласковой, кормила меня вкусным творогом со сметаной. Ее муж Мендель Иоффе вел со мной политические беседы и водил меня в синагогу. Это он первый мне рассказал, как много успело сделать Временное правительство после победы Февральской революции для установления равноправия евреев.

Когда я немного подрос и пошел учиться в русскую школу, я ушел и от тети Гитл и вместе с другими деревенски-

ми ребятами рано утром шел в Толочин в школу, а вечером возвращался домой в Голынку.

Дорога в Толочин проходила через лес. Этот лес казался мне тогда огромным, глубоким, бесконечным. А потом, когда через много лет, уже после войны, я приехал с женой и братом в Голынку, леса не было вовсе, он был вырублен, и оказалось, что на самом деле он вовсе не был таким большим и дремучим, как казалось мне в детские годы. Дорога была красивой, на ней всегда лежал мягкий и нежный песок. Босиком так легко бегалось по ней. Я нередко задумывался о чем-то своем, заветном, оторвавшись от дороги чуть ли не в беспамятстве, и казалось, будто я бегу по ней много, много лет.

Часто мы с Егоркой, услышав гудок приближавшегося поезда, бежали через поле к станции «Толочин» и успевали застать его на платформе или увидеть хвост промчавшихся мимо вагонов «Москва — Минск».

Однажды зимой поздно вечером мы, несколько школьников, возвращались из Толочина в Голынку, громко разговаривали и смеялись. Вдруг мы заметили, что посреди дороги навстречу нам приближается волк. Мы в ужасе бросились назад и решили переночевать у родственников и знакомых. Я постучался в маленький домик, который построил на участке дяди Абрама младший брат отца, дядя Бенъямин, и жил там вдвоем со своей женой тетей Сарой. У них не было детей. Сара очень обрадовалась моему приходу. Она угостила меня вкусной едой и уложила спать на печку. Хотелось спать, но Сара говорила и говорила и часто спрашивала: «Бима, ты спишь?» Я слышал вопрос и не хотел ее обманывать, поэтому отвечал: «Нет, я не сплю». И опять она говорила и говорила, пока, наконец, я догадался ответить: «Да, я уже сплю».

Наутро оказалось, что на дороге мы встретили вовсе не волка, которые в нашем лесу, действительно, водились, а нашего соседа, Якова Демешко. Это он в мохнатом тулупе полз на четвереньках.

Их, Демешко, в нашей деревне жили три брата, три семьи, и все большие любители выпить. Старший, бездетный Антон, казался мне древним стариком, а было ему в ту пору едва 60 лет. Средний, Яков, отец большого и очень интересного, образованного семейства. Его дочери Тася и Соня были красивыми девушками. В Тасю был тайно влюблен Давид, Соня — ближайшая подруга Мани. Сыновья Андрей, Иван, Николай учились и работали. Всегда в их доме было по-городскому чисто, уютно, сверкали накрашенные полы, и, как мне тогда казалось, они жили весело и хорошо. На самом же деле и в этом благополучном доме были свои трагедии. Одна из них у Таси. Она вышла замуж за следователя, красивого и способного человека, который почему-то вдруг застрелился. Коля, самый молодой из братьев, иногда катался со мной на лодке-душегубке, и я был счастлив и горд. Он где-то упал, сломал ногу и долго ходил на костылях. Старший брат Андрей был влюблен в нашу Маню, и кажется, взаимно. Во время войны Андрей был партизаном, и его предал немцам наш сосед Виктор Козловский. Но об этом потом.

Дом третьего брата, Лукьяна, стоял рядом с нашим, и были у него две красивые дочки — Оля и Надя. Надя почти моя ровесница, на два года старше, нравилась мне и в детстве, и потом, когда я вернулся с войны и встретился с нею в Москве. Я даже назначил ей свиданье, но она не пришла на него, потому что в тот же день, не знаю где и как, трагически погибла.

Кроме семьи Якова Демешко, жила в нашей деревне еще одна семья, выделявшаяся своей интеллигентностью, — Козловские. Это семейство было пришлым. Козловские приехали в Голынку не то во время, не то после Гражданской войны. Их сын Виктор был по сравнению с другими деревенскими ребятами начитанным молодым человеком. Он хорошо, с большим чувством пел старинные русские песни. Одно время каждое утро он подходил к нашему дому и звал меня свистом или пением купаться. Я просыпался, выбегал к нему, и мы шли к мельнице плавать. Туда же приходил и

мой неизменный друг Егорка. Я тогда никак не мог представить себе, что этот вежливый и интеллигентный исполнитель задушевных русских песен Виктор потом, во время войны станет провокатором и выдаст немцам многих партизан, среди них и моего Егорку Громыко и Андрея Демешко. После возвращения Советской армии Виктора, кажется, расстреляли.

Наверное, в детстве все кажется лучше, чем это было на самом деле. Но я не могу припомнить ни одного случая плохого отношения ко мне, к моей маме, к кому-нибудь из нашей семьи или к другим голынчанам.

Вспоминаю март 1925 года. Тогда был огромный, небывалый паводок, растаявший снег превратился в бурные потоки воды, которые снесли на своем пути все мосты через нашу речку и полностью разрушили плотину. Вода ринулась вниз, заливая и сметая все, что было на ее пути. Мама попросила крестьян из нашей и ближайших деревень помочь в этой беде. Когда я вернулся из школы, увидел, как много людей привозили на повозках и санях землю, камни, быстро и умело делали большую насыпь, и на глазах возникла новая плотина, ставшая на пути взбунтовавшейся реки.

Когда умер наш отец, жители нескольких деревень обратились к властям с просьбой передать заведование мельницей вдове умершего Маневича, то есть моей маме. Также они поступили, когда вводился НЭП и мельница сдавалась в аренду, и тогда мама стала ее арендатором. Мама дорожила добрым отношением односельчан. Она учила нас жить мирно со всеми.

Однажды, когда я был совсем маленьким, мы подрались с Егоркой. Я заплакал и пришел жаловаться. Мама выслушала мою жалобу и... первый и последний раз в жизни побила меня, приговаривая: «Не дерись, а если дерешься, то не жалуйся». Этот жизненный урок я запомнил навсегда.

Мы жили в Голынке, пока не окончился срок аренды мельницы. В 1926 году, по настоянию Давида, мы записались в сельскохозяйственный кооператив «Новый Толочин», в ко-

торый, кроме нас, записалось еще девять семей — жителей Толочина. Мы начали готовиться к переезду в Джанкойский район Крыма. Этот переезд из многих районов страны организовали «ОЗЕТ» — общество землеустройства трудящихся евреев, созданное в СССР, и помогавшее этому начинанию американское общество «Джойнт», снабжавшее переселенцев в кредит тракторами и другими сельскохозяйственными машинами.

Это была моя первая дальняя дорога. Мы ехали долго. Поезд шел медленно. Я выбегал на каждой станции, чтобы записать все новые и новые названия станций. Помню, мама была взволнована. Маня любезничала с молодыми людьми. Давид радовался, что едет пахать землю, а я все записывал станцию за станцией. По дороге вспоминал, как мне удалось без всяких свидетелей попрощаться с Егоркой, с лесом, со своими тремя березками и любимой рекой...

ЛАРИНДОРФ

Мы приехали в Джанкой, а оттуда на свой 62 участок. Позднее эту новую деревню в степи назвали в честь Юрия Ларина, старого большевика, друга Ленина и тестя Бухарина, Лариндорф. Вскоре Ларин прислал нам много книг из своей библиотеки. На некоторых из них были дарственные надписи от авторов. В Лариндорф, как и в другие соседние деревни, приезжали переселенцы из многих местечек и городов страны. Кроме нашего «Ной-Толочин», были коллективные хозяйства из других районов Белоруссии, Украины. Приехали и горские евреи из Средней Азии.

Нам определили нашу будущую улицу и отвели кусок земли для строительства дома. Перед нами расстилалась огромная степь без единого дерева, без реки, без ручья, без колодцев. Первым делом было рытье колодцев, и тут же начали строить дома с черепичными крышами. По настоянию мамы, мы привезли из Голынки доски для пола. Поэтому

наш дом отличался от других хорошим деревянным полом, а в других домах полы были земляные. Потом мы построили хлев для лошадей и коров. Наш коллектив одним из первых получил из Америки трактор «Фордзон».

Все, все тут было необычно: безбрежная степь, ящерицы, ночное небо, усеянное тысячами ярчайших звезд, и какая-то жесткая трава, и яркое солнце, и беспощадная жара.

Но вот построили дом и хлев, появились у нас свои лошади, свои коровы, свой огород. Коллектив этот был «ООЗ», то есть коллектив по совместной обработке земли, становился на ноги. При помощи трактора была вспахана, вероятно, впервые в этой степи, земля. На своих лошадях мы с Давидом, а потом я самостоятельно бороновал нашу землю, засевали ее сеялкой, собирали урожай, молотили пшеницу на коллективной молотилке, заготавливали и свозили сено на зиму и складывали его в свой сарай. И снова, как в Голынке, у нас появились свои куры и овощи, а дешевые фрукты абрикосы, сливы, яблоки и арбузы привозили крестьяне из других районов Крыма и Украины. Их обычно покупали ведрами по 5–10 копеек за ведро. Здесь мы впервые попробовали и стали есть помидоры, абрикосы, арбузы.

Приближался новый учебный год. Средняя школа, бывшая гимназия, находилась в центре районного города Джанкоя, первого города в моей жизни. В нем в то время было примерно три тысячи жителей – русских, татар, евреев, крымчаков-караимов, греков и немцев. Наша деревня Лариндорф находилась в 40 километрах от Джанкоя. Я туда обычно добирался на попутных подводах, запряженных лошадьми или волами. Ехали долго. Когда мы ночью приближались к городу, он ярко светился тысячами электрических лампочек. Это тоже для меня было необычным.

В Джанкое я учился три года – в пятом, шестом и седьмом классах. Домой приезжал только на зимние и летние каникулы. Однажды, когда не было попутной подводы, мы, несколько учеников, пошли пешком. Путь оказался тяжелым. Когда мы, наконец, добрались до нашей деревни, ноги

совсем отказывались идти. (Об этом случае через много лет я вспоминал на Украинском фронте, когда мне с другими однополчанами пришлось долго плестись по фронтовым дорогам, с трудом вытаскивая из непролазной грязи ноги, обутые в пудовые кирзовые сапоги.)

Первый год я жил на окраине города в коммунальной квартире, в которой ютилось несколько многодетных семей. Соседи были очень шумными, жить там было тяжело. Постоянно стоял непрерывный шум: одновременно говорили все дети, молодые девушки, их мамы и бабушки. В такой «веселой» обстановке читать книги и делать уроки было трудно. Но самым тяжелым испытанием было возвращение из школы. По пути домой надо было проходить мимо дома, где жили злые-презлые мальчишки, караулившие мое возвращение. Как только я появлялся, они осыпали меня бранью и кричали: «Жид, жид, жид!» Я бежал от них, а они бежали за мной с криками и угрозами. Я не помню, чтобы они когда-нибудь меня ударили, но я их очень боялся.

На следующий год мама сняла мне угол на одной из центральных улиц города в тихой семье. Это был у меня счастливый год. Здесь мне никто ничего не готовил, я варил для себя ежедневно пшеничную кашу, иногда делал яичницу. Продукты мне с оказией присылали из дома. Мне приходилось очень экономить те совсем маленькие суммы денег, которые тогда могла давать мне мама. Почему-то запомнилось, что я тратил, вернее, мог тратить в день 13 копеек. На эти деньги я мог купить хлеб, 100 грамм хамсы или повидло. Один или два раза в год я мог на сэкономленные деньги торжественно отправиться в единственный в городе ресторан и заказать себе совершенно роскошный «борщ украинский». Обычно такой кутеж я себе позволял в день своего рождения.

Жизнью такой я был вполне доволен. Я мог читать книги, которых было так много в городской библиотеке, мог в тишине быстро приготовить уроки и опять читать и погружаться в такой интересный мир русской классики! К книгам я пристрастился еще в Голынке. Там я сначала тайно читал

книги, которые собирал Давид. Это было связано с большим риском. Книги у него стояли на высоком шкафу, и, чтобы их достать, надо было выбрать время, когда его не было дома, встать на спинку качавшегося неустойчивого стула. Была опасность, что в любой момент мог появиться брат, и тогда был неизбежен скандал. Он не хотел, чтобы кто-либо читал его книги. Между тем там, на шкафу в строгом порядке лежали и стояли брошюры Л.Д. Троцкого «Труд, дисциплина и порядок спасут молодую советскую власть», несколько номеров журнала «Большевик», сборник под названием «Троцкизм или ленинизм?», газеты и многое другое.

Шумные скандалы Давида и страсть к книгам толкнули меня на обман: мама каждое утро давала мне с собой несколько копеек, чтобы я мог купить французскую булку и выпить стакан лимонада. Это было очень вкусно. Но я стал собирать эти копейки и покупать на них дешевые книжки. В это время в Толочине стали продавать серию «книжка-копейка», которая издавалась где-то далеко от нас, кажется, в Москве. Когда у меня собрались толстые, хорошо иллюстрированные тома сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Жуковского и некоторых других моих любимых писателей и поэтов, а также тонкие брошюры, я решил открыть в Голынке свою библиотеку. Первыми моими читателями были Егорка, Надя Демешко, Вася Дмитрук, и даже Стась и Соня Шимко. Я с удовольствием выдавал мои книги и был горд тем, что и такие взрослые люди, как Шимко, читают мои книги! А мой друг Егорка, которого я научил читать, приносил мне в подоле рубашки много спелых и вкусных слив.

Тогда же в Голынке я стал с огромным интересом читать все, что у меня и у Давида было о РКП(б), — Российской коммунистической партии большевиков, и с особым и большим интересом я читал толстенный том стенографического отчета XIV партсъезда. В этой книге я впервые увидел и понял вероломство вождей пролетарской революции, их сговор и их взаимную ненависть, разрыв «дружбы»

Сталина и Каменева, вражду между Троцким и Зиновьевым, грубые и злые реплики деятелей революции. Ведь все они были друзьями и соратниками самого Ленина! Я не мог понять тогда, да и сейчас, почему на том съезде молчит герой Октябрьской революции и вождь доблестной Красной Армии — Лев Давидович Троцкий?! Читать отчет съезда было очень интересно, хотя, конечно, я не понимал, как они все клялись Лениным, и все ссылались в этих спорах на слова и писания покойного вождя. Мне были неприятны грубые, жестокие выкрики, мешавшие выступать сторонникам ленинградской оппозиции, и бурные аплодисменты съезда в поддержку тех, кто зло и грубо мешал говорить и защищать сторонников оппозиции...

В Джанкое мне посчастливилось прочесть много книг Тургенева, Толстого, Чехова, Надсона, Плещеева, Кольцова, Тютчева и многих других. Гоголя, Пушкина, Лермонтова я с упоением читал еще в зимние дни и ночи в Голынке. Здесь, в Джанкое, я с огромным вниманием следил за событиями в коммунистической партии, которая в это время перешла в наступление на крестьян, или, как тогда писали в газетах, на остатки буржуазных классов в городе и в деревне.

Последним годом моей учебы в джанкойской средней школе был 1929–1930 учебный год. Я кончал семилетку и мечтал о взрослой самостоятельной жизни. В том году я переехал в большой дом моего одноклассника Хемы Вихмана. Этот дом тоже стоял в центре города. Семейство было большим и шумным. Вихманы приехали из Гомеля, но недолго крестьянствовали. Глава семьи Абрам был хорошим столяром-краснодеревщиком. В самой большой и светлой комнате находилась мастерская этого тихого, маленького и доброго человека, в которой он с утра до позднего вечера строгал и клеил столы, шкафы, тумбы, буфеты, этажерки. Ему помогал один из сыновей, такой же физически сильный и молчаливый, как отец, — Мотя. (Мотя потом стал моряком-подводником и погиб с экипажем лодки еще до войны.) Самый старший сын Звулон жил в Москве. Он был одним

из организаторов вуза, в котором не было ни профессоров, ни преподавателей. Студенты здесь учили друг друга сами. Этот эксперимент, конечно, провалился, но о нем напечатали в одном из московских журналов, и поэтому Звулона дома звали профессором и гордились им.

Звулон после отсидки в тюрьме (по доносу соседа) окончил инженерно-экономический факультет и до последних лет работал инженером в Симферополе. У Абрама было еще три сына и две дочери. Самый способный из них — Хоня. Когда я стал редактором школьной стенгазеты, я поместил в ней интересную статью Хони. В ней он зло и едко критиковал директора и заведующего учебной частью школы. От меня потребовали, чтобы я снял газету. Я отказался. Газету сняли, а Хоню исключили из девятого класса. Он уехал в Ленинград и поступил в кораблестроительный институт. Институт был военным, в нем было слишком много, как он мне сказал, муштры, и он ушел из него, переехал в Москву, работал на каком-то заводе, а когда началась война, ушел добровольно на фронт и погиб.

Мой одноклассник Хема после окончания ФЗУ стал офицером, служил в авиации. Его младший брат Леня во время войны был одним из командиров партизан в Крыму. Сестры Хьена и Соня были очень шумными и говорливыми, доброжелательными людьми. Весь этот большой дом управлялся неутомимой, деловой и умной хозяйкой — их мамой. В этом доме всегда было шумно, кипела жизнь, не прекращались споры. У нас с Хемой возник план: после окончания седьмого класса уехать в Москву учиться, чтобы стать в ряды «самого передового класса общества — рабочего класса» или поступить в какой-нибудь техникум.

Шел 1929–1930 год — «Год великого перелома». В газетах появилась злые статьи против недавних соратников Сталина — Бухарина, Рыкова, Томского, шла «борьба за сплошную коллективизацию сельского хозяйства», проводилась «ликвидация кулачества как класса». Вблизи нашего дома находилась милиция. Туда каждую ночь привозили все новых

и новых раскулаченных крестьян, а утром они исчезали, как говорили, их отправляли в далекие, холодные края.

Коллективизация проходила и в Лариндорфе. Здесь наши СОЗы и ТОЗы превращали в колхозы. Об этом я узнавал из рассказов Давида и других односельчан. В деревню приезжали представители советской власти и требовали образовать один на всю деревню колхоз. При этом предлагалось немедленно привести на общий двор всех лошадей и коров.

Жители Лариндорфа не хотели выполнять этот приказ, тогда уполномоченный вынул револьвер, положил его на стол и сказал: «Кровь из носа, а колхоз будет!» После этого Давид, как и другие односельчане, со слезами на глазах повел с нашего двора кобылу Машу и ее дочку, красавицу и всеобщую любимицу Галю, а также спокойного, толстого мерина. Потом все было так, как и в других деревнях. Работать стали плохо, лошади и коровы стояли некормленные и ненапоенные. Разница по сравнению с другими деревнями страны была в одном, но весьма существенном обстоятельстве — в еврейских деревнях Крыма не нашли кулаков и некого было выселять. Крестьяне-переселенцы все были членами кооперативов, и здесь еще не было ни кулаков, ни батраков.

Когда в марте 1930 года появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой вождь пытался свалить всю ответственность за так называемые перегибы на местные власти, Лариндорский колхоз, подобно другим колхозам, распался. Люди увели домой исхудавших, грязных, замученных неволей лошадей.

Кончался мой последний учебный год в Джанкое. Тогда от революции Октября 1917 года прошло только одно десятилетие, были еще живы учителя дореволюционной гимназии, и они, эти «старорежимные» учителя, неплохо нас учили. Таким учителем был Соколов, преподававший нам литературу и русский язык. До революции он был директором джанкойской гимназии. Мои сочинения ему нравились, хотя он о них однажды сказал, что они слишком мрачны и

пессимистичны. В одном из них мой герой покончил жизнь самоубийством. Перед окончанием седьмого класса Соколов сказал, что он хочет дать мне один совет: «Изучайте иностранные языки, они вам очень пригодятся в жизни». До сих пор жалею, что не послушался его доброго совета. Запомнил и учителя физики. Это был большой, толстый, пожилой человек. Однажды весь свой урок он посвятил рассказу о том, какая замечательная страна Финляндия. Он красочно и убедительно говорил, что в этой стране живут люди работающие, честные и добрые. Там никто никогда не вешает замки на дверях своих домов, не боятся воров, потому что их там нет. На меня его рассказ произвел очень сильное впечатление, и когда окончился незаметно пролетевший урок, я подошел к учителю и взволнованно благодарил его.

Запомнил я старых хороших учителей: математики Репина, немецкого языка – Блеера, и татарского, фамилию которого забыл. Все они старательно и умело пытались нас учить, хотя им мешали это делать новые порядки и мы, ученики советское народной школы.

Когда кончался учебный год, мне было уже почти 16 лет. В таком возрасте, а некоторые еще раньше, вступали в комсомол. Я был активным пионером, редактором школьной стенгазеты, председателем «Легкой кавалерии». Так называлась общественная организация, боровшаяся с различными негативными явлениями. Вместе с Хемой мы выполняли канцелярскую работу в уголовном розыске и т.п. Главное же, я очень верил в великое дело построения самого справедливого, самого честного коммунистического общества и очень хотел находиться среди передовых людей этого общества в комсомоле. Здесь, в Крыму, как и в Голынке, я писал и публиковал свои заметки в газете «Красный Крым». В Голынке я был постоянным селькором в газетах «Коммунистичный шлях», «Белорусская Веска» и переписывался с самой «Крестьянской газетой».

Однако с детских лет, когда я еще только вступал в пионеры, я страдал из-за своего непролетарского, мелкобур-

жуазного происхождения. Правда, здесь, в Джанкое, я уже считался сыном матери крестьянки-колхозницы, но все равно я должен был писать, что я родился в семье арендатора «маленькой водяной мельницы», и как только люди об этом узнавали, они смотрели на меня недоверчиво. Поэтому меня даже не сразу приняли в пионеры. Но еще хуже было при поступлении в комсомол. Мое заявление долго обсуждалось на бюро и на собрании ячейки, и на приемной комиссии. Везде возникали сомнения, можно ли принять человека, если у него при хорошем социальном положении такое плохое социальное происхождение?! Хотя я пытался доказывать, что в нем, в этом происхождении, лично совсем не виноват, и что до Октябрьского переворота мне было всего три года, и что мельница не принадлежала моим родителям, и что отец после революции был назначен заведующим мельницей — ничто не могло убедить моих обвинителей. Из 17 человек 11 проголосовали «за», а 6 — «против». Потом в приемную комиссию кто-то написал заявление, в котором говорилось, что мой отец жив и до сих пор занимается торговлей, а «семья Маневича живет прилично», а я все это скрыл, чтобы проникнуть в комсомол. В связи с этим приемная комиссия постановила «в приеме Маневича в комсомол воздержаться».

Однако мне помог член бюро райкома Васин, который выступил в мою защиту. Бюро отменило решение комиссии, и меня приняли в члены ВЛКСМ. Я был безгранично счастлив!

Последнее лето в Крыму я провел дома, в Лариндорфе. За все три с половиной года жизни в Крыму никто из нашей семьи ни разу нигде, кроме степного района, не был, никто так и не увидел тогда Черное море и городов Крыма. На это у нас не было денег.

Лариндорф 1930 года, наверное, ничем не отличался от других еврейских и нееврейских поселений и деревень, здесь, как и везде, проходила коллективизация, везде чувствовалось напряжение. Как-то в том году я захал в немецкую деревню, но немцев там уже не было. Они все уехали в Германию.

Был июль. Надо было собираться в дальнюю и неизвестную дорогу, в Москву, столицу Советского Союза, в город-мечту! Я тогда не боялся никаких трудностей, был уверен в себе, знал, твердо знал, не пропаду, обязательно стану одним из тех, кто будет опорой и силой Советского государства, кто пополнит самый передовой, самый революционный слой общества — рабочий класс!

Мы с мамой попрощались. Она дала мне одну денежку — 50 рублей, уложила мой кругленький фанерный сундучок и сказала: «Вот, Бима, у меня нет больше денег. Один тебе совет — бойся городских женщин!»

Я этих женщин боялся. Боялся, после того как тайно, еще в Голынке, прочел на чердаке книгу, которую стащил у мамы. Это был роман Куприна «Яма». Мне было до слез жаль героинь этого романа, и тогда я поклялся, что никогда не буду покупать женское тело и не заражусь венерической болезнью.

После моего отъезда из Лариндорфа наша семья окончательно распалась. Конечно, кроме моего отъезда, были и другие причины: и разлады в семье, и потеря интереса к крестьянскому труду из-за неумелого и неэффективного ведения хозяйства в этом большом колхозе вместо работы на своей земле и в составе своего маленького кооператива «Ной-Толочин». Кроме того, Давид и Маня тоже захотели уехать в город. Поэтому мама распродала наше хозяйство и уехала в свою родную Кручу, где она жила до замужества и переезда в Голынку. Круча была маленьким местечком в 10–15 километрах от станции «Славное», первой станции от Толочина по дороге к Минску. Местечко очень живописное: рядом лес, чистая-пречистая река, синагога, церковь и много старых евреев, доживавших свой век. Почти все молодые парни и девушки уехали из Кручи. Они жили в Ленинграде, Москве, Минске, Орше. Летом во время отпусков многие из них приезжали в гости к своим старикам. И я с большим удовольствием приезжал сюда, в Кручу. Приезжал не только на летние, но иногда и на зимние каникулы. Мама, вернувшись из

Крыма, недолго жила у своей сестры Ривы, вышла замуж за вдовца Перчика, перешла в его домик-развалюшку. Это был очень старенький дом. Может быть, ему было сто лет. Жена Перчика умерла давно, а дети жили в других городах. Когда я в первый раз приехал к маме, была зима, Перчик со своей понурой лошадкой ждал меня на станции «Славное». Мы долго медленно ехали по красивой зимней дороге через задумчивый лес в занесенную снегом Кручу.

Маня тоже приехала в Москву, устроилась на работу в библиотеку имени Добролюбова, что находилась на Смоленской площади. При этой библиотеке была маленькая комната, где она и жила. Давид пополнил собой рабочий класс Харькова, он стал работать в литейном цехе какого-то машиностроительного завода.

Так распалась наша семья.

ПОЕЗД ПРИШЕЛ В МОСКВУ

Этот день запомнился мне на всю жизнь.

Был яркий солнечный день 13 июля 1930 года. На перроне Курского вокзала нас с Хемой встречала большая ватага молодых девушек, друзей его старшей сестры Хьены. Они приехали из Сокольников, где жили коммуной. В коммуне все жили на равных правах: рабочие и работницы московских предприятий, студенты и студентки различных вузов и техникумов, служащие каких-то учреждений. Жили они весело и дружно. Вместе решали кому, когда и какую одежду надо купить. В столовой готовили и дежурили по очереди. Каждый полностью отдавал в коммуну свою зарплату или стипендию. Обо всем этом я узнал позже, когда был в гостях у коммунарков, а пока мы слышали смех и теплые приветствия встречавших. На площади у Курского вокзала была конечная остановка ярких, красных трамваев. Я впервые видел эти трамваи, такие высокие дома и таких веселых и счастливых людей.

Очень быстро мы доехали до Маросейки и вышли из этого звенящего и гостеприимного домика на колесах. На Маросейке находилась квартира братьев Вихманов — Звулона, Хони и приехавшего со мной Хемы. В маленькой комнате на втором этаже жил сосед, пожилой, весь в морщинах, немец, бухгалтер какого-то учреждения. Этот скромный молчаливый сосед потом заложил Звулона, сообщив в ГПУ о том, что Звулон по ночам сжигает книги Троцкого и Зиновьева. Звулона посадили на несколько лет в тюрьму.

Первую ночь в Москве я крепко проспал на Маросейке. Утром мы с Хемой пошли к моим родным, что жили на Кропоткинской улице в доме № 10. Это знаменитый дом. Там находилось и находится много различных комитетов, в том числе Антифашистский еврейский комитет, который был целиком арестован в 1952 году за исключением Эренбурга и Маршака, международные Комитет борьбы за мир, Славянский комитет и другие.

В одной из комнат этого старинного особняка, очень высокой и светлой, жила семья моей двоюродной сестры Гнеси Сekt. На мой звонок в двери появилась она, беременная Гнеся, которую я тогда увидел впервые. Она знала, что я собирался приехать в Москву, но встретила меня равнодушно, и тут же у двери сказала: «Заходи, но только знай, что больше чем две недели ты у нас не сможешь жить...». Хема был огорошен такой встречей. Я же бодро сказал: «О, через две недели я устроюсь и найду себе жилье!» Гнеся была, наверное, права. Жить у них было тяжело. В маленькой комнате жили тогда 6 человек (она с мужем Кимом Бондаренко, его отец Василий Иванович и его сестра). Здесь же жили брат Гнеси Гриша и сестра Ида, и вот-вот должен был появиться ребенок.

Меня устроили хорошо. Моя раскладушка стояла у окна, и по утрам меня будили веселые звонки пронесившихся по Кропоткинской трамваев. Дед Бондаренко был веселым и благодушным стариком, который умел и любил готовить невиданной вкусноты украинский борщ и угощал меня от души. Ким работал в Теплотехническом институте у Рамзи-

на, которого вскоре судили как руководителя контрреволюционной организации «Промпартия». Об этом Ким не любил говорить, а вот о том, что в Москве скоро начнут строить метрополитен, я узнал из его рассказов. Очень радушно и тепло относился ко мне Гриша, который когда-то жил у нас в Голынке. Он тогда приезжал учиться в Толочинской средней школе.

Через несколько дней мы с Гришей пошли на Первую мешанскую улицу на биржу труда. Там меня приняли на учет как безработного, а затем послали на «профотбор», где на основе различных тестов определили, что я больше всего подхожу к полиграфическому ремеслу, а также к работе по точной механике. Видимо, по результатам профотбора меня вскоре рекомендовали в ФЗУ имени Мандельштама, где готовили слесарей, токарей и фрезеровщиков. В это же ФЗУ подал заявление и Хема. Предстояли вступительные экзамены. Подавших заявления оказалось больше, чем мест. К экзаменам мы готовились в Нескучном саду Парка культуры и отдыха имени Горького. До экзамена я обошел много техникумов. Но нигде, в том числе и в Техникуме связи имени Подбельского, в электротехническом и других, заявления не принимали. Везде прием был закрытым, то есть по рекомендации партийных организаций и в числе «парттысячников». Парттысячниками называли коммунистов из рабочих и служащих, которых партийные организации рекомендовали на учебу в рабфаки, средние и высшие учебные заведения.

Зашел я и в Политехникум имени Плеханова. Сюда вместе с заявлением, анкетой и многочисленными справками я принес письмо-просьбу Хамовнического райкома ВЛКСМ. Не знаю, то ли эта просьба райкома, то ли я сам понравился директору В. Распопову, но он принял мои документы, а на моем заявлении написал красными чернилами: «Зачислить кандидатом».

Экзамены в ФЗУ мы с Хемой выдержали, и нас приняли. Но на все это понадобилось не две недели, как я обещал Гнесе, а два с половиной месяца. Мне пришлось жить и у

других родственников, на Арбате, напротив дома Пушкина, в подвале на Дорогомилловской улице. Здесь было много родственников, пришлось спать на полу, но я и этим был вполне доволен.

Первого сентября начались занятия в ФЗУ. В этот же день я получил направление в общежитие училища. Оно находилось в огромном подвале, недалеко от Киевского вокзала. Придя туда, я увидел на каменном полу неисчислимое количество железных кроватей, тесно стоящих рядами. Их было очень много. Почти на каждой из них лежали или сидели мальчишки. В подвале было шумно. Казалось, все хотели перекричать друг друга. Где-то в углу оказалась еще незанятая койка. В этом общежитии жили бывшие беспризорные или мальчишки, приехавшие из подмосковных городков и деревень учиться в Москву.

Рано утром надо было как можно скорее встать, чтобы успеть умыться под немногими кранами, одеться и бежать в столовую, которая находилась в ФЗУ, а потом успеть к своему рабочему месту, к тискаам, в которых была зажата небольшая стальная деталь. Ее надо было обработать, то есть допилить до указанных размеров, чтобы из нее, в конце концов, получился измерительный прибор. Это была тяжелая работа, металл был невероятно тверд и не хотел поддаваться, ноги уставали, не хотели целый день стоять, а руки отказывались пилить и пилить. Казалось, что я никогда не смогу выполнить задание мастера.

На уроках, которые проходили в аудиториях, было куда легче, чем в цеху. Здесь мы изучали книжку в сером переплете, на которой были крупными буквами набраны две фамилии: И.В. Сталин и Л.М. Каганович.

В ней содержались их доклады на XVI съезде партии, который закончился в Большом театре, когда мы с Хемой приехали в Москву. В книжке оба автора критиковали грубые политические ошибки руководителей правой оппозиции — Бухарина, Рыкова и Томского, в ней говорилось и о замечательных успехах, которых добилась партия под руко-

водством Сталина в коллективизации сельского хозяйства и индустриализации всей страны.

Каждый день после окончания занятий в ФЗУ мне не хотелось идти в общежитие, я старался оттянуть возвращение туда. Долго ходил по московским улицам и переулкам, по набережной Москва-реки, подолгу смотрел на памятники моих любимых поэтов и писателей.

Изредка я заходил к директору В. Распопову. В техникуме уже шли занятия. Он всегда, как мне казалось, с искренним сожалением отвечал мне, что пока он не может меня зачислить в число студентов, я оставался кандидатом.

Но вот однажды, во второй половине октября, когда я снова пришел к директору, он мне сказал: «Вы с 20 октября студент нашего техникума, приходите».

ПОЛИТЕХНИКУМ

20 октября 1930 года – второй счастливый день в моей жизни. Этот день также запомнился навсегда. Я шел по солнечной Москве, шел, и все во мне пело и плясало: я студент! студент! студент! Мне казалось, что все видят, какой я счастливый человек, и все люди, которые шли по улицам Москвы, – все хорошие, счастливые люди. Когда я увидел на середине Серпуховской площади милиционера-регульщика уличного движения, я подошел к нему пожелать ему счастья.

Первый день учебы тоже запомнился. Он проходил в аудитории-амфитеатре. Читал лекцию по электротехнике профессор Мартынов. Я оглянулся, среди слушателей я был самым молодым. Везде сидели солидные пожилые люди, некоторые из них оказались участниками Гражданской войны, старые, заслуженные коммунисты. Все они были парттысячниками. Их прислали с заводов и фабрик после многих лет тяжелого труда. Профессор Мартынов читал совершенно не понятные мне вещи. Я ничего не понимал, и, как я видел,

мои соседи тоже ничего не понимали. Мартынову это было вроде бы безразлично, он аудиторией не интересовался — читал себе и читал. Я же был переполнен счастьем и радостью: я студент Политехникума имени Плеханова и самого престижного, самого интересного отделения — консервного!

Так начались мои занятия на Зацепе 41. В этом здании через четыре года я закончил техникум. В этом же доме я буду еще три года учиться в институте, и в этом же здании через много лет, когда вернусь с фронта, буду читать лекции и руководить аспирантами экономического института. Распрощавшись со своими соседями по койке и с другими учениками ФЗУ, я с тем же самым фанерным баульчиком, с которым приехал в Москву, переехал в одно из общежитий техникума. Оно находилось на Тверской, напротив здания Моссовета, рядом с памятником «Свободы», на котором большими буквами была начертана первая Конституции РСФСР, подписанная Я.М. Свердловым.

После этого общежития на Тверской мне за время учебы пришлось жить во многих других: зимой в дачном домике на станции «Расторгуево», потом в огромном зале на Большой Грузинской улице, в котором нас было более 50 человек, а уже затем нам и студентам института имени Плеханова построили дома на Зацепе. Это были, как нам тогда казалось, прекрасные дома, в каждой комнате жило не больше 4 студентов, а в коридорах были все «удобства». Конечно, ни душа, ни ванны не было. Мыться ходили в городские бани. В целом каждое следующее общежитие было лучше предыдущего. Самым хорошим было последнее.

Вспоминая сейчас свою жизнь, я понимаю, что я и мои близкие, как и все советские люди, жили в большой нужде. Часто бывало очень голодно и холодно, были обуты в рваную, хляпающую обувь, одеты в изношенные брюки, старые, выцветшие рубашки, но никто не считал себя бедняком. Думаю, что это объяснялось, во-первых, молодостью, во-вторых, уверенностью, что так приходится жить, чтобы построить светлое здание социализма, в-третьих, что так живет боль-

шинство советских людей, строителей прекрасного будущего, в-четвертых, в надежде, что скоро придет желанная пора социализма.

Но вернемся назад, в 1930 год. Итак, я студент Политехникума имени Г.В. Плеханова. Рано утром, когда еще совсем темно, мы едем на Валовую улицу в студенческую столовую, едим завтрак — обычно жареную картошку, какую-нибудь кашу, пьем чай с хлебом и идем учиться.

В том году, по методике, не знаю, кем придуманной, был введен «бригадный метод» изучения всех предметов. Задания преподавателей выполняли коллективно, всей бригадой. На самом же деле выполнял один или два студента, а все остальные переписывали в свои тетради. Понятно, что такая методика ничего хорошего не давала. Когда студента вызывали к доске, многие не могли ничего ответить, хотя все задания были выполнены. Некоторые преподаватели, особенно из тех, кто учительствовал в дореволюционное время, нередко издевались над пожилыми парттысячниками. Как-то, чтобы показать контраст между знаниями этих пожилых и молодых студентов, вызвал меня профессор, и, хотя я далеко не блестяще отвечал, он с ехидством сказал стоявшему рядом со мной пожилому студенту: «Вот как надо отвечать». Мне было очень стыдно и за себя, и за этого профессора, и обидно за парттысячника. Но помню и другое. Обозленные студенты на своих собраниях с большой страстью и негодованием прорабатывали нелюбимых профессоров и преподавателей, требовали замены их другими, классово близкими, и нередко добивались такой замены. Многие студенты бросали учебу и возвращались на свои предприятия.

Наш техникум находился рядом с Институтом народного хозяйства им. Плеханова. Я часто ходил туда в большой читальный зал. Он привлекал меня тем, что на его столах лежали подшивки газет «Правда» и «Известия» за 1918—1930 годы. Читать газеты, которые издавались в начале революции, было очень интересно. Там печатались статьи и речи Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина,

Радека, Сосновского и многих других известных деятелей, которые уже к этому времени назывались оппортунистами, «двурушниками», но их еще не заклеямили «врагами народа». Такими они станут через 5–6 лет. К тому времени в Плехановке, к моему глубокому сожалению, уберут все эти газеты, журналы и книги первых лет советской власти, и их, как везде, прочно и надолго спрячут в спецхраны. Тогда же я не мог оторваться от старых подшивок газет, из которых я узнал, что именно эти люди совершили переворот в стране и что именно они были самыми близкими людьми и соратниками Ленина, а Л.Д. Троцкий – главным организатором Октябрьского переворота и создателем Красной Армии, и многое другое. Но об этом уже нельзя было узнать из потока лживых книг, брошюр и газет. То, что и в этих старых газетах была далеко не вся правда, я тогда догадаться не мог, и я верил, верил, что наша Красная Армия принесла людям добро и счастье, потому что она защитница всех угнетенных рабочих и крестьян, а белые хотели восстановить монархию; что в Кронштадте окопались враги, и их с трудом удалось победить доблестным и честным воинам под руководством самых передовых людей революции – делегатов X съезда партии большевиков, что под руководством легендарного полководца Тухачевского подавлено кулацкое восстание. О том, что все это бессовестная ложь, что большевики жестоко и беспощадно расправляются со своим народом – с рабочими, крестьянами и матросами, я узнал только через много лет.

Учили нас в техникуме неплохо. Тот, кто хотел, мог получить хорошую общую подготовку и овладеть специальностью. Много времени уделялось тогда производственной практике. За четыре года учебы я побывал на практике на пяти предприятиях: в Ленинграде, в Ростове-на-Дону, в Петропавловске, в Омске и в Виннице. За эти годы несколько раз менялся профиль техникума и его отделений. Сначала я учился на консервном отделении. В конце 1930 года наша бригада проходила практику на рыбоконсервном заводе в

Ленинграде. Помню, как трудно было сесть в вагон поезда, который должен был отправиться от Октябрьского вокзала. Сотни людей с чемоданами и мешками одновременно пытались втиснуться в вагоны, некоторые лезли в окна, влезали на крыши вагонов. В нашей бригаде, кроме меня, были еще три студента и две студентки, бывшие рабочие Раменской текстильной фабрики. Они были старше меня на 5–10 лет. Им удалось ворваться в вагон, растолкать других пассажиров и захватить купе. Мы, оставшиеся на платформе, подавали вещи через окна, а затем тоже втиснулись в вагон. Этот поезд почему-то назывался «Максим Горький». Ехать было трудно в тесноте, духоте, и голодно. Но зато через трое или четверо суток поезд все-таки пришел в Ленинград.

До чего же красивым оказался этот город, о котором я так много читал и слышал. Меня поражали прямые улицы, удивляло, что, сколько бы ни было этажей, все дома казались одинаковой высоты. Проспекты, улицы и площади носили столь знакомые и славные имена — Рылеева, Пестеля, Урицкого, Володарского. Вот и Зимний дворец, Петроградская сторона. До чего же все это волновало воображение, и как мне повезло — еще совсем недавно, в том же году, я не видел города больше Джанкоя, а сейчас я живу в Москве и брожу по Ленинграду!

На консервном заводе нас приняли хорошо. Практика была организована разумно: каждый из нас изучил и собственноручно выполнял все без исключения операции по производству жестяных банок и по технологической обработке консервов — от закладки рыбы в банки до автоклава и выпуска готовых вкусных шпрот. Можно сказать, что за время практики каждый из нас полностью овладел этой специальностью. Кроме того, за время учебы в техникуме я овладел специальностями альбуминщика и нормировщика.

Однажды я получил хороший заказ: в ночной смене сделать несколько сот металлических номеров. За каждый номерок я получал по 5 копеек и заработал уйму денег, которые

потратил на билеты в ленинградские театры и на угощение моих товарищей пирожными. Я тогда побывал в Эрмитаже, Петропавловской крепости, в Петергофе, в Царском селе, поднимался на Исаакиевский собор.

Практика окончилась, я вернулся в Москву. Стипендия, которую я получал, была очень мала — около 20 рублей в месяц, и ее не хватало. Никто из родных не мог мне помочь. Подошвы на моих старых ботинках отвалились. Я привязал их веревками. Неприглядно выглядел весь мой гардероб. Тогда я вспомнил свою селькоровскую деятельность в Голынке и пошел наниматься на работу в редакцию газеты «За пищевую индустрию», которая находилась на Арбате в здании Моссельпрома. Меня тут же зачислили в репортеры и дали задание. С тех пор я одновременно с учебой всегда работал: сначала в этой газете, потом в журналах — «За ударничество» и «За овладение техникой». В этом журнале меня даже назначили заведующим отделом. Но им я пробыл недолго, потому что отдел кадров подозрительно отнесся к моему социальному происхождению, и я, опасаясь плохих последствий, поспешил оставить эту хорошо оплачиваемую должность.

Затем работал инструктором по распространению печати, вместе с другими студентами ходил на работу в ночные смены на кондитерскую фабрику, несколько лет преподавал на московских машиностроительных заводах историю партии. Был очень доволен, что рабочие и служащие с интересом слушали меня, так как я привлекал и использовал для своих занятий много интересных фактов и данных, материалы из воспоминаний старых революционеров и писателей.

После последней практики в Виннице, во время которой я написал свою выпускную дипломную работу и один из всего курса защитил ее на «отлично», меня назначили заместителем директора Винницкого мясокомбината. Тогда мне не было еще двадцати лет, и я был горд, что мне доверили такой пост.

СТУДЕНТ ИНСТИТУТА

Защитив дипломную работу и окончив Политехникум с оценкой «отлично», я получил право в счет «пяти процентов» поступать без обязательной трехлетней практики и без экзаменов в любой университет или другое высшее учебное заведение страны. Но мне казалось, что мне обязательно надо поступать сразу на второй курс, потому что, как я тогда думал, для первого курса я был уже слишком стар. В Московском университете со мной не согласились и хотели зачислить меня только на первый курс. В историко-архивном предложили сдать экзамены по основным предметам, которые они изучали на первом курсе, в том числе латынь и французский язык. Тогда я решил обратиться к декану экономического факультета института, который находился в том же здании на Зацепе и составлял вместе с Политехникумом учебный комбинат, и даже общежитие было общим.

Деканом факультета работал симпатичный молодой человек, ему тогда было не больше 25 лет, по фамилии Шикин. О нем многие студенты говорили с большим уважением, его считали честным, порядочным и добрым человеком, с чувством собственного достоинства. Таким он и был. О нем рассказывали, что однажды на каком-то большом собрании при упоминании вождя всех народов все дружно вскочили со своих мест, чтобы «бурно приветствовать», в первом ряду оставался спокойно сидеть только один человек — Шикин. Может быть, именно поэтому через несколько лет он внезапно и навсегда исчез. Просмотрев внимательно мои документы, Шикин написал резолюцию: «Зачислить на 2-й курс при условии сдачи экзаменов по политической экономии и высшей математике». Я тут же начал к ним готовиться.

То лето 1934 года было для меня особенно тяжелым. Стипендию я еще не получал, а зарабатывать не мог — надо было изучать «Капитал» и учебники. Я даже не мог выкупить хлеб, который полагался мне по карточкам. Чтобы преодолеть голод, я начал курить — это, как я думал, отвлечет от

чувства голода. Купил самые дешевые папиросы «Бокс». Был уверен, что когда наступят лучшие времена, я сумею легко бросить курить. В этом я сильно ошибся: отказаться от этого страшного зла мне удалось с огромным трудом только через много лет, уже после войны.

Экзамен по политической экономии, который длился больше двух часов, я сдавал придирчивому доценту Спицину. Когда я ответил на все вопросы, доцент сказал: «Вы отвечали отлично, но так как вы не слушали лекции и не учились в семинаре, я ставлю вам “хорошо”». Когда я принес в деканат записку доцента, Шикин тут же подготовил приказ о моем зачислении на 2 курс экономического факультета.

Учиться на 2 курсе было легко, но неинтересно: многих преподавателей я знал по техникуму, и они меня знали. Я снова пошел к Шикину, и он перевел меня в другую группу, которая в том году в зимнюю сессию переходила на 3 курс. С этой группой мне было намного интересней учиться. В ней я прочулся до окончания института, до 1937 года. Здесь большинство студентов были семейными людьми, с немалым жизненным опытом. Среди них были мои будущие рекомендатели в партию – Сапова, член партии с 1919 года, Степан Хаблов, тоже старый большевик и отец большого семейства, супруги Лев Беер и Люба Мусарская, приехавшие из Симферополя, Мириманов из Казахстана и другие.

Летом 1935 года меня рекомендовали на курсы преподавателей истории партии. Мы занимались в подмосковном лесу, жили в палатках, а учили нас слушатели Института красной профессуры, хорошо образованные и подготовленные люди. В нашем распоряжении было много книг, в том числе второе издание собрания сочинений Ленина, книги Плеханова, Мартова. Преподаватели, некоторые из них сами участвовали в революции и Гражданской войне, охотно отвечали на наши вопросы.

В это время уже развертывалась активная деятельность сталинцев против реальной и потенциальной оппозиции. Ведь уже прогремел выстрел, которым был убит Киров, вы-

стрел, инспирированный Сталиным и организованный ГПУ. Об этом на курсах, как я помню, никто не говорил, видимо, понимали, что говорить не надо. Я, во всяком случае, уже тогда понимал, кому нужна была эта смерть. Аналогия с недавним поджогом Рейхстага была на памяти у многих.

После успешного окончания курсов я получил право преподавать предмет, которым интересовался с детства, историю партии. За преподавание я получал дополнительно к стипендии деньги, которые были мне очень нужны, ибо к этому времени я был женат, и у меня рос сын Лев (Львушка). Он родился в том страшном 1937 году. Тогда меня пригласили в партбюро и якобы между прочим спросили: «А почему ты такое имя дал своему сыну, в честь Троцкого?» — «Нет, — ответил я, — в память моего отца. Я ведь Ефим Львович». Такой ответ их удовлетворил.

В том же 1937 году я, активный комсомолец, секретарь комсомольской организации экономического факультета, пропагандист, отличник учебы, делегат районной конференции ВЛКСМ, решил, что имею моральное право вступить в партию. То, что кругом меня была накаленная обстановка, что повсюду происходили аресты старых большевиков, что убийство Кирова широко использовалось для уничтожения все новых и новых «врагов народа» — все это было вне меня, не касалось ни меня, ни моих родных, ни моих товарищей по учебе. Я вспоминаю, что я не верил тому, что говорили в судебных процессах Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек и другие, но все-таки я был верен идее построения коммунизма. И, хотя не все мне нравилось в учении марксизма-ленинизма, я все же верил, что оно призвано изменить весь мир в интересах большинства трудящихся. Сталин отошел от ленинского пути, он скоро будет сметен, а дело Ленина, дело партии будет жить.

Стране предстоит борьба со злейшим врагом человечества — с фашизмом. Поэтому, подавая заявление в партию, я тогда не шел против своей совести. Может быть, я боялся тогда додумать до конца, может быть, я был так занят собой,

своей учебой, общественной деятельностью и семьей, что не мог и не хотел додумать до конца? Не знаю, не знаю...

Знаю только, что я хотел вступить в партию не из-за карьеристских соображений. Я получил рекомендации от бюро райкома комсомола, от Саповой и Хаблова — моих однокурсников. В анкете и в автобиографии я написал, конечно, о своем непролетарском социальном происхождении. На партийном собрании поднялся шум. Один за другим выходили коммунисты, которые меня хорошо знали, и говорили, что, хотя товарищ Маневич хороший студент, активный комсомолец, но его социальное происхождение не дает нам право доверять ему. Скорее всего, он сын крупного эксплуататора, почему мы должны ему верить, что на мельнице был только один, а не несколько наемных рабочих?!

Я попросил слово и сказал, что я говорил правду. Я могу съездить в Голынку и привезти бумагу, которая подтвердит мою правоту. Собрание согласилось. И хотя секретарь партбюро, преподавательница марксизма-ленинизма, мне тут же сказала: «Напрасно вы едете, вам такую справку никто не даст, побоятся», — я в тот же день уехал в Толочин.

В Голынке уже не было мельницы, ее сломали, плотину разрушили. Голынчане меня встретили хорошо, все, кто в тот день был дома, подписали справку, в которой подтверждали мою правоту. С этой бумагой я пошел в Озерцы, в сельсовет, чтобы ее заверить. Здесь я очень долго ждал председателя. Наконец, поздно вечером, он появился, прочел справку, сразу ее перечеркнул и сказал: «Как я могу подписать такую бумагу, ведь так много врагов народа. Сегодня в газетах есть сообщение, что расстреляны такие враги, как Тухачевский, Якир и другие! Нет, нет, ничего не буду подписывать!» В райисполкоме, куда я обратился назавтра, мне сказали: «Мы разберемся и пришлем вам справку». И, действительно, прислали. В ней говорилось, что наша семья сбежала от раскулачивания «в свой национальный Азербайджан». В партию в том году меня не приняли.

И все же в том страшном 1937 году мне везло. Вот-вот могли меня тогда заграбастать в ГУЛАГ, но не тронули. Как-то меня пригласила в партком Татьяна Сапова. Она тогда замещала секретаря парткома института. Не успел я войти, как Сапова, потрясая какой-то бумагой, закричала: «Ты что, не понимаешь, в какое время мы живем? Почему ты болтаешь с кем попало!»

Оказывается, на меня написал донос хромой студент, который накануне заговорил со мной в общежитии. Я не говорил ему ничего похожего на то, что было написано в его доносе. Сапова, выслушав меня, разорвала клязку и снова посоветовала помалкивать. Если бы не она, Сапова, рекомендовавшая меня в партию, дежурила тогда в парткоме, донос остался бы цел. А вот я, возможно, нет.

Через много лет, уже после войны, я снова встретил того человека, когда я с большой колодкой орденов и медалей на груди выступал с докладом в Министерстве иностранных дел. Он снова написал на меня донос, на этот раз в райком партии за то, что я недостаточно подчеркивал огромные преимущества социализма перед капитализмом. И этот донос мне показали в райкоме и тоже выбросили.

В то лето 1937 года мне предстояло сдать четыре экзамена Государственной экзаменационной комиссии. С сыном Львом на руках я готовился к экзаменам. Жена тоже училась, и некому было нам помочь. Председателем Государственной экзаменационной комиссии был назначен известный в то время экономист, заведующий финансовым отделом Госснаба СССР, молодой профессор, доктор экономических наук Григорий Иосифович Дукор. По всем предметам на госэкзамене я получил отличные оценки, окончил институт «с отличием» и тем самым получил право сдавать экзамены в аспирантуру сразу после окончания института, то есть без обязательных трех лет работы.

В НАРКОМАТЕ У А.И. МИКОЯНА

Через несколько дней после окончания госэкзаменов всю нашу группу вызвали в Наркомат. Нас пригласили зайти в большой кабинет наркома. Перед нами появился маленький, с черными усиками, в блестящих сапогах человек, знакомый по многочисленным портретам — член политбюро Анастас Иванович Микоян. Рядом с ним стояли наш председатель Государственной экзаменационной комиссии Г.И. Дукор и заместитель министра Гишинский.

Первые слова, с которыми к нам обратился Микоян, прозвучали, как мне показалось, чрезвычайно цинично: «Вам всем здорово повезло: вредителей, врагов оказалось у нас много, и освободились должности ответственных работников. Сейчас буду с вами знакомиться и назначать на ответственные посты».

Микоян знакомился и тут же назначал моих однокурсников. Одного назначил начальником главка, другого директором фабрики, третьего заведующим отделом и т.п. Когда дошла очередь до меня, Микоян спросил: «Сколько же вам лет, товарищ Маневич?» — «Двадцать три», — ответил я. — «Тридцать три», — передразнил он. — «Не тридцать три, а двадцать три», — поправил я его. — «Куда будем его назначать?» — спросил Микоян у Дукора. — «Назначьте его ко мне, моим заместителем», — ответил Дукор. Микоян спросил меня: «Вы согласны идти к товарищу Дукору на должность заместителя начальника финансового отдела?» — «Нет, — ответил я, — мне бы хотелось заниматься трудовыми проблемами». Дукор настаивал, чтобы я шел к нему. Тогда Микоян сказал: «Вот Дукор говорит, что вы нужны ему и что вы справитесь с работой в его отделе. Вы видели, как люди проходят в трамвайном вагоне — надо локтями расталкивать других и проходить все вперед и вперед», — и показал, как это надо делать — расталкивать всех стоящих на пути. Мне этот совет совсем не понравился. Но больше я не спорил.

Работать с Дукором было интересно. Он относился ко мне очень тепло и внимательно. Почти всегда Дукор приглашал меня на все заседания не только отдела, но и коллегии. Мы вместе с ним ходили к финансистам Госбанка, Наркомата финансов. Ему нравилось при мне диктовать проекты постановлений ЦИК СССР по различным финансовым проблемам. Помню, как торжественно он диктовал: «Подписи: Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин, секретарь А. Енукидзе».

Г.И. Дукор прекрасно, виртуозно разбирался в самых сложных финансовых вопросах наркомата, и не только наркомата. На заседаниях коллегии Микоян вел себя разнузданно и грубо. Не стесняясь в выражениях, он ругал почти всех участников совещания — начальников главков, в том числе известного по истории партии бывшего члена Государственной думы, старого большевика, начальника Главпива Бадаева, директоров предприятий, своих заместителей, вообще всех, кроме двух людей — первого заместителя наркома Гилинского и Дукора. К ним, да еще, пожалуй, к начальнику Главпарфюмерии — жене Молотова — Полине Жемчужине, он относился вполне уважительно. Тем не менее и Гилинский, и Дукор, высококвалифицированные и опытные работники, внезапно исчезли. Они, как и многие другие, были «разоблачены как враги народа».

Вместо Г.И. Дукора начальником отдела назначали тихого, незаметного и малоизвестного человека — Степанова. Вскоре мне, в числе других руководящих работников наркомата, предложили переехать из студенческого общежития в новую отдельную квартиру, мне установили большой оклад, кажется, 1000 рублей в месяц, выделили автомашину. Но работать в наркомате после ареста Дукора стало совсем неинтересно. Рабочий день уходил на беседы с руководителями главков, встречи с финансистами главков и предприятий, старающимися выбить выгодные условия для себя и при этом обмануть наркомат, так же как наркомат, в свою очередь, старался урвать как можно больше государственных средств

в Наркомате финансов. В такой деятельности, как я сумел убедиться, весьма активно участвовали все члены коллегии во главе с самим наркомом, членом Политбюро — Микояном. А после такого рабочего дня уходить домой нельзя было, следовало оставаться и сидеть в наркомате ночью.

Ночные бдения сотен тысяч работников государственного аппарата, партийных и других ответственных работников уже тогда стали повседневной практикой в жизни чиновников всех рангов Москвы и всей страны. Ночи, как это стало широко известно позднее, Сталин превратил в рабочие дни. Именно ночью, во время кутежей со своими приближенными, он принимал важнейшие решения. Поэтому по ночам все ждали, что в любой момент может раздаться телефонный звонок, и надо будет срочно ответить на возникшие там вопросы.

Такой порядок работы был не только тяжелым и выматывающим, но вызывал у меня чувство возмущения. Я все больше стал тяготиться этой работой. Поэтому я не хотел переезжать из студенческого общежития в отдельную квартиру, не радовали меня автомобиль и другие блага крупного чиновника.

Ко мне, как и раньше, приходил в общежитие подружившийся со мной в институте профессор Лев Яковлевич Любимов, наш преподаватель истории экономических учений. Он уговаривал меня подать заявление о приеме в аспирантуру Института экономики Академии наук СССР. В то время, как он мне сказал, был объявлен первый набор аспирантов. Сначала я решительно отмахивался от этого совета: как это меня, окончившего весьма непрестижный Институт мясной промышленности, примут в столь известный институт?! Лев Яковлевич меня убеждал горячо и настойчиво, он говорил, что я могу быть принят в аспирантуру.

Л.Я. Любимов был интересным человеком. Он хорошо знал не только историю экономических учений, курс которой он читал нам весело и интересно. Он в те страшные темные годы очень доверял мне и говорил со мною откоро-

венно. Это от него впервые я узнал, что между Гитлером и Сталиным разница небольшая, и что он считает и предвидит, что оба эти диктатора скоро подружатся и будут делить весь мир. Надо учесть, что это говорилось за два года до заключения договора о дружбе с фашистской Германией! С этим предсказанием моего учителя и старшего друга я не мог тогда согласиться, спорил с ним, а он говорил: «Вот увидите, вы скоро убедитесь в моей правоте».

Лев Яковлевич оказался прав и в этом предсказании. Я благодарен ему и за его совет поступать в аспирантуру, но, к сожалению, сказать ему об этом я не могу, его давно нет в живых.

АСПИРАНТ АКАДЕМИИ НАУК

Я послушал совет Льва Яковлевича Любимова и пошел в Институт экономики. Меня хорошо принял Дмитрий Трофимович Шепилов – ученый секретарь института, высокий, красивый и вежливый человек. Он недавно был переведен на эту работу из ЦК ВКП (б) из-за ареста родственника жены. С этого первого знакомства началась наша дружба с Шепиловым, вернее, наша взаимная симпатия на долгие годы. Почти вся моя дальнейшая жизнь прочно связана с ним: и вступление в партию, и Народное ополчение, и выход из окружения во время войны, и то, что я остался жив, и в послевоенные годы – везде и всегда так или иначе многое связано в моей жизни с Дмитрием Трофимовичем Шепиловым.

Дмитрий Трофимович сказал, что конкурс будет большой, аспирантура в общественном отделении Академии наук призвана заменить только что закрытый Институт красной профессуры. Здесь будет вестись подготовка ученых, экономистов, философов, историков, юристов, филологов. В этот первый прием Институт экономики получил право принять в аспирантуру лишь пять человек, а заявлений подано 35, то есть 7 человек на место.

Долго готовиться к экзаменам не пришлось, потому что они вскоре начались. Я весьма успешно сдал все экзамены по всем предметам, к своему удивлению, получил отличные оценки и занял первое место среди победителей конкурса. К счастью, прошло мало времени после госэкзаменов в институте и я еще не успел забыть ни политическую экономию, ни философию.

В аспирантуру были приняты Яков Певзнер, Евгений Касимовский, Матвей Виленский и Валерий Мелкадзе. Самым старшим из нас был Касимовский, он на 10 лет старше меня, младшим на 2 года – Виленский, старше на два года – Мелкадзе. Из пяти человек победителями конкурса оказались три еврея, один русский и один грузин. Все мои сокурсники защитили кандидатские диссертации, а после войны все стали докторами наук, опубликовали много книг и статей и стали известными экономистами. Все мы участвовали в Великой Отечественной войне: я и Мелкадзе в стрелковых дивизиях, Виленский в СМЕРШЕ, Касимовский в финансовом отделе фронта, а Певзнер – в войне с Японией.

Это был первый прием и последний на конкурсной основе. Уже в следующем, 1938 году, все аспиранты были рекомендованы ЦК ВКП(б), и все они имели большой партийный стаж. Среди них были и те, кто не успел закончить институт красной профессуры – В.Г. Венжер, Т. Пономарев, Г. Иванов, И.В. Маевский, Белов. Когда началась война, эти аспиранты, не успев защитить диссертации, были назначены на должности комиссаров полков (Пономарев, Иванов), один из них был назначен комиссаром дивизии (Белов), а Маевского забрали на работу в Наркомат иностранных дел.

О нашем первом составе аспирантов Института экономики историк Э.Б. Генкина, приезжавшая в конце войны к нам на фронт читать лекции, сказала: «При приеме в аспирантуру Института экономики допустили грубую политическую ошибку – надо было принять не трех евреев, а одного, трех русских и одного грузина». Я возразил: «Нас ведь приняли в результате честного конкурса». Она ответила: «Не надо

было так делать». И, действительно, у нас, как и во всех других академических и учебных институтах, как правило, таких «ошибок» уже больше не допускали.

За год до моего поступления в аспирантуру Институт экономики вместе с другими институтами, изучавшими общественные науки, был переведен из Коммунистической академии в Академию наук. Директорами института были: Крицман, академик Савельев, бывший одно время ответственным редактором «Правды», Д. Лурье, Милютин, Б.А. Маркус.

Институт экономики был единственным научным учреждением в стране, изучавшим проблемы политической экономии, истории экономической мысли, истории народного хозяйства, экономики промышленности, транспорта, сельского хозяйства, размещения производительных сил, финансов, кредита и денежного обращения, труда.

В институте тогда работали около 100 человек. В их числе были: академик С.Г. Струмилин, член-корреспондент Д.И. Розенберг, доктора наук: К.В. Островитянов, Д.И. Черномордик, Л.М. Гатовский, М. Кубанин, кандидаты наук: З.В. Атлас, А.И. Ноткин, А.И. Пашков, Я.Г. Фейгин, Н.А. Цаголов, Абрамович, А.А. Аракелян, Д.Т. Шепилов, И.А. Анчишкин, Б.М. Сухаревский, М.В. Калганов, А.А. Громыко, тот самый, который во время войны заменил на посту посла в США М.М. Литвина, после войны стал министром иностранных дел, а в то время, о котором я пишу, он работал секретарем редакции журнала «Проблемы экономики». Перед войной пришли из Госплана экономисты С.А. Хейнман и Я.А. Кронрод.

Нас, первый набор аспирантов, в институте встретили тепло. Нам отвели большую светлую комнату с новыми полированными столами. В институте была большая хорошая библиотека, высококвалифицированные и внимательные работники которой быстро обеспечивали нас литературой.

Лекции и семинары читали и вели ученые института по темам своей научной работы. По политической экономии каждый из нас должен был представить большой письмен-

ный доклад об одной из экономических формаций. Доклады обсуждались на семинаре под руководством К.В. Островитянова. Все они вызывали большие, горячие дискуссии. Учеба в аспирантуре проходила очень интересно. Мы изучали работы не только классиков марксизма-ленинизма, но и других ученых в области политической экономии, философии и народного хозяйства.

В том же 1938 году в Москве проходил очередной «открытый» суд над «врагами народа». Главными подсудимыми были ближайшие соратники Ленина и недавние друзья Сталина – Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и другие. Процесс проходил, как и предыдущие, в Октябрьском зале Дома Союзов. Каждый день газеты печатали стенографический отчет суда. Меня уже не удивляли «полные признания» всех подсудимых в том, что они давно стали шпионами чуть ли не всех стран, террористами, которые убили Кирова и тщательно готовили убийство Сталина, Молотова, Ворошилова и других вождей. Это был последний так называемый «открытый процесс», который проходил так же, как и два предыдущих, по тому же сценарию.

Хорошо помню, что тогда я уже не верил ни одному слову прокурора Вышинского, ни признаниям подсудимых. Я не сомневался, что подсудимые «признаются» потому, что их беспощадно бьют. Эти догадки подтвердил случай с Крестинским, который вдруг нарушил правила игры и отказался от своих показаний, а потом назавтра снова во всем «признался».

Говорить о суде, о признаниях на нем я мог только с самыми близкими людьми, с родными. Многие верили газетам, Вышинскому, пропаганде. Я хорошо знал историю партии, историю революции и не мог поверить в такое «перерождение» всех ближайших друзей и соратников Ленина, активных участников Октябрьского переворота, Гражданской войны. Но многие люди с удивлением задавали один и тот же вопрос: «Зачем это им надо было продавать страну, чего им не хватало?» Может быть, и в этом вопросе содержалось недоверие суду, газетам.

Прошло уже более 50 лет. Многое опубликовано, и люди знают, как велась подготовка к этим судилищам, кто и как сочинял сценарий, кто дирижировал процессами. Стала известна роль самого крупного уголовного всех времен и народов – Сталина. Признания вырывались у этих несчастных людей не только изощренными физическими пытками, но и пытками моральными, а также обманом, обещаниями сохранить жизнь подсудимым и их близким. Но все же очень трудно себе представить, что такие люди, как Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, могли поверить заверениям Сталина, Ягоды, Ежова и других палачей.

Однако когда я через 54 года после этого процесса пишу об этом, из архива Сталина дошло последнее письмо Бухарина к жене А.М. Лариной, которое он написал из тюрьмы 15 января 1938 года, незадолго до начала суда. Вместе с этим письмом «Известия» опубликовали комментарии Лариной.

Читаю и перечитываю. Никак не могу поверить, что Н.И. Бухарин в 1938 году, уже зная, как проходили и как заканчивались процессы над Каменевым и Зиновьевым, а также Пятаковым и Радеком, как он мог считать, как пишет Ларина, «главными виновниками» Каменева и Зиновьева. «Против них он метал громы и молнии и обзывал их как угодно». Далее Ларина пишет: «Бухарин (и не он один), зная, что подсудимые на предыдущих двух процессах оклеветали его, не мог представить, зачем они оговаривают самих себя, делают признания, влекущие смерть, не верил тому, что сейчас общеизвестно... Когда однажды я спросила Н.И., зачем Зиновьеву нужно было убивать Кирова, он ответил: «А меня и Алексея (Рыкова) они же убивают, Томского уже убили, следовательно, они на все способны».

Трудно, очень трудно допустить, чтобы этот человек мог так думать о людях, которых он хорошо знал. И, кроме того, не так уже сложно было догадаться, кому была нужна смерть Кирова после четырех лет массового террора, учиненного Сталиным вслед за этим убийством.

Судя по этому последнему письму Бухарина, а также воспоминаниям других людей, палачи во время следствия в ряде случаев использовали так называемый идеологический фактор: людям, посвятившим всю свою жизнь делу революции, верившим, что они строят светлое коммунистическое будущее, говорили, что они должны дать эти ложные показания против Троцкого и наступающего фашизма. Видимо, так можно понимать слова Бухарина в предсмертном письме: «Помни о том, что великое дело СССР живет, и это главное, а личные судьбы — преходящи и мизерабельны по сравнению с этим». Следующие слова этого письма написаны, видимо, после того как палачи обещали Бухарину, что он обязательно встретится со своей любимой женой и сыном: «Во всех случаях и при всех исходах суда я после него тебя увижу и смогу поцеловать твои руки».

В своем комментарии Ларина отмечает: «Мне стало известно, что обвинительное заключение он подписал в начале июня, во время следствия, уже в тюрьме, пачками продолжали поступать клеветнические показания против него, допросы профессиональных провокаторов, в том числе его бывшего ученика В. Астрова, завербованного ОГПУ еще в конце 20-х годов. Следователь Лев Шейнин угрожал Н.И. преследованиями, которым подвергнут членов его семьи (а это самая страшная кара) в случае, если он не сдастся... Наконец Н.И. допрашивали 12–14 следователей, сменяя друг друга. От депрессии лечили возбуждающими препаратами, а возможно, и подавляющими волю его. В подготовке Н.И. к процессу принимали участие Ежов и Вышинский — от Политбюро его «друг» Ворошилов. Все согласовывалось со Сталиным. Я убеждена, что ему была обещана жизнь, думаю, он верил в это».

В том, что было немало людей, которые верили суду, лживым речам Вышинского, многократно повторяемым писаниям «историков», я убедился через много лет после этих процессов. Об одном таком совсем нерядовом человеке я хочу рассказать.

Это было примерно лет 10 тому назад, в 1983 году. Мы с моим однополчанином по ополченческой стрелковой дивизии и довольно близким другом Б.М. Кедровым получали в Совете ветеранов войны медаль. В ожидании торжественного вручения мы разговорились о давно минувшем процессе над Н.И. Бухариным. Бонифатий Михайлович на мое замечание о том, что давно пора было бы реабилитировать его, неожиданно для меня сказал: «Нет, нельзя его реабилитировать, он ведь участвовал в подготовке убийства Ленина». — «Что вы говорите, Бонифатий Михайлович, — закричал я, — кто вам это сказал?!» — «Это давно известно, ведь Бухарин сам сознался в этом на следствии и на суде...».

Эти утверждения услышать от умного и критически мыслящего философа, академика, коммуниста с 1917 года было очень неожиданно. Я возмутился и первый раз за наше длительное знакомство и дружбу закричал на него: «Как вы можете поверить в этот обман, разве вы не знаете, как и почему они сознавались на допросах и процессах?!» Потом я вспомнил, что отец и брат Бонифатия Михайловича были работниками ВЧК и ГПУ, а брат был одним из тех 12 следователей, которые допрашивали Бухарина. Может быть, именно брат-чекист и рассказал философу об этих признаниях? Но ведь и отец, и брат тоже были уничтожены в те же 30-е годы!

Думаю, что помимо огромной машины лживой пропаганды и продуманной системы обмана в условиях полного запрещения свободы печати и информации большую роль в том, что миллионы людей попадали под массовый гипноз, верили в преимущества социалистического строя — сыграл небывалый экономический кризис, поразивший все капиталистические страны мира.

Этот кризис не коснулся только СССР. Только в Советском Союзе не было безработицы, только в СССР экономика якобы «шла от победы к победе». В эту ложь, стократно повторяемую ежедневно и ежечасно, верили очень многие, сознаюсь, и я был в числе этих верующих. Под флагом этих

реальных и мнимых успехов Сталину удалось осуществить в стране неслыханный и невиданный в истории террор, массовые казни, непрерывно пополнять рабами многочисленные лагеря Гулага.

Мы с Виленским и Мелкадзе жили в доме аспирантов Академии наук на Малой Бронной. У меня была семья — жена и два сына, Лев и Виталий. Стипендии не хватало. Мне пришлось, как и прежде, подрабатывать: писал рецензии для журнала «Книга и пролетарская революция», в котором редактором экономического отдела был молодой кандидат экономических наук А.А. Аракелян, а также для журнала «Проблемы экономики». Периодически ездил в районы Московской области читать популярные лекции по экономическим проблемам. В конце аспирантуры, когда значительная часть диссертации была готова, я начал преподавать в Институте востоковедения.

Диссертацию я закончил досрочно и мог бы ее защитить в октябре 1940 года. Но мой первый официальный оппонент профессор Бровер нашел в ней политические ошибки и тем самым сильно перепугал моего научного руководителя профессора Б.Л. Маркуса. Все мои попытки доказать, что в моей диссертации никаких политических ошибок нет, успехом не увенчались. Мне было предложено до защиты внести исправления, а защиту пришлось отложить на конец декабря. Ничего удивительного в испуге моего руководителя не было: не только за стенами института, но и в самом институте, как и по всей стране, продолжался сталинский террор.

К этому времени я уже состоял в партии. Я был секретарем комсомольской организации института. Рекомендации мне дали Д.Т. Шепилов и Я.Г. Фейгин, а также бюро райкома ВЛКСМ. На этот раз я был принят единогласно при одном воздержавшемся. Им оказался И.А. Анчишкин, который усомнился, могу ли я состоять в рядах партии, имея такое социальное происхождение (все та же водяная мельница). Позже на фронте Иван Александрович, проверив меня в боях под Москвой, навсегда стал моим другом. Он даже сказал на

прощание, когда его сняли с должности комиссара нашей дивизии: «Я в вас ошибался, товарищ Маневич. Вы смелый и честный коммунист».

Но это было потом, а перед войной И.А. Анчишкин был секретарем партийной организации института, вел собрания, на которых проходили бурные обсуждения провинившихся коммунистов. О двух таких собраниях я хочу сейчас рассказать.

Первое связано с делом старого латышского коммуниста Бумбера. После указа Президиума Верховного Совета о введении судебной ответственности за опоздание или неявку на работу директор распорядился, чтобы все научные работники отныне приходили на работу в институт. До этого, как и потом, научные работники, из-за отсутствия рабочих мест, работали дома. В институт приходили по так называемым явочным дням, это распоряжение директора разослала по почте наша курьерша Анна Степановна. Бумбер не пришел в тот день на работу, и его немедленно предали суду. Суд его осудил к принудительным работам. На партийном собрании выступали коммунисты, и все требовали исключить его из партии. Выступил и я. Это было мое первое выступление после приема в партию. Я сказал, что мы имеем все основания верить старому коммунисту, члену партии с 1918 года, что он не получил письмо из института. Я ему верю больше, чем курьеру, чем почте. Меня перебил директор института: «Мальчишка! Вы ничего не понимаете в обстановке!» Собрание исключило Бумбера из партии. И.А. Анчишкина не было на этом собрании, но он добился, чтобы горьком отменил это решение.

Намного трагичнее окончилось дело другого старого коммуниста, доктора экономических наук М.И. Кубанина. Этот ученый-аграрник опубликовал в журнале «Проблемы экономики» статью о производительности труда в колхозах и совхозах. В ней Кубанин доказывал на конкретных примерах и строгих расчетах, что производительность труда в сельском хозяйстве СССР много ниже, чем в фермерских хо-

зьяствах США. По этому поводу появилась статья в журнале «Большевик» со зловещим заголовком «О клеветнической вылазке доктора экономических наук М.И. Кубанина». Статья редакционная, без подписи. Но ее стиль давал возможность догадаться, что если не автором, то ее редактором был Сталин. В этой статье, для того чтобы как-то оправдать низкую производительность труда в коллективных хозяйствах, неэффективность социалистического сельского хозяйства, даже отрицалось значение роста производительности труда. В статье в прямом противоречии с действительностью и утверждениями классиков марксизма-ленинизма утверждалось, что «производительность труда занятого в производстве не может служить критерием при решении задачи догнать и перегнать в экономическом отношении передовые капиталистические страны. Потому сама по себе производительность труда занятого в производстве работника не может служить главным мерилom экономической мощи данной страны». Таким образом, повышение производительности труда, о котором говорили, что это «самое важное, самое главное дело», оказывалось, не имело значения. Первостепенным провозглашался рост индустрии, расширение объема производства, увеличение количества предприятий вдвое, втрое, вчетверо, то есть экстенсивный путь развития советской экономики. Далее в статье говорилось о том, что только «при социалистической системе хозяйства рост производительности труда занятого работника достигается благодаря улучшению технических средств производства, облегчающих труд работника, при средней норме интенсивности труда, не отражающейся на здоровье работника... Пресловутый рост производительности труда при капитализме строится в значительной степени именно на базе убийственного роста интенсивности труда работника».

На партийном собрании института М. Кубанина и ответственного редактора журнала «Проблемы экономики» Б.А. Маркуса исключили из партии. Вскоре Кубанин был арестован и расстрелян, а Маркуса спасла война. Он добро-

вольно в составе дивизии народного ополчения пошел вместе с нами на фронт.

Так беспощадно расправился Сталин за первую и последнюю попытку сказать правду о провалившемся волюнтаристском эксперименте коллективизации сельского хозяйства в стране.

КАНДИДАТ НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Как я уже упоминал, к середине 1940 года я закончил работу над своей диссертацией, которая была посвящена организации заработной платы в промышленности СССР. Я собрал большой теоретический, исторический и тактический материал, проштудировал все опубликованные к этому времени книги и статьи, побывал на многих предприятиях и в наркоматах и написал неплохую работу. После войны, немного дополнив диссертацию, я ее опубликовал.

Защита была назначена на 27 декабря. На ней выступили три официальных и несколько неофициальных оппонентов. Один из последних резко ругал мою работу, обвинив меня в том, что я слишком очернил нашу систему оплаты труда. Однако ученый совет единогласно одобрил диссертацию и присудил мне ученую степень кандидата экономических наук. Не могу забыть, как после сообщения итогов тайного голосования весь состав ученого совета встал, и все искренне поздравляли меня. Тогда защиты проходили редко, а я был вторым аспирантом, защитившим диссертацию. Первым был Е.В. Касимовский.

На другой день был издан приказ директора о зачислении меня на должность старшего научного сотрудника (СНС). В это время в Институте экономики, как и во всей стране, следили за военными действиями, которые шли в Европе. В явочные дни собственные «стратегии и тактики» института горячо обсуждали сообщения газет о том, как

быстро продвигались немецкие войска все вперед и вперед, молниеносно захватывая один город за другим, одну страну за другой. Мне бывало порой стыдно слушать эти речи, я удивлялся и не мог понять, как такие умные люди, как Анчишкин, Цаголов, Сухаревский и многие другие, стоя у черной доски, рисовали ход наступления и восторгались успехами гитлеровских войск. Слово «фашизм» тогда, в период нашей «дружбы» с Германией исчезло, говорили – «немцы», «немецкие солдаты и офицеры», а в газетах писали «национал-социалисты».

В один из таких дней, когда фашисты подходили к Парижу, ко мне обратился очень взволнованный старший научный сотрудник Миша Калганов и сказал: «Здорово, здорово идут немецкие войска по Европе! Мы скоро поделим с ними весь мир и будем господствовать только вдвоем – мы и Германия». Я, сдерживаясь, скрывая свое негодование, ответил ему: «Нет, ты зря радуешься. Когда они победят Европу, – они тут же набросятся на Советский Союз, и наша дружба окончится». – «Ты, Ефим, глубоко ошибаешься. Мы дружим, и так будет всегда – половина мира им, а другая половина – нам! Давай, на что хочешь, поспорим, и ты обязательно проиграешь!» В тот день мы, действительно, поспорили. Мы встретились с Колгановым примерно через год во время войны, он сказал: «А ведь в нашем споре ты, Ефим, был прав».

Вскоре после защиты диссертации меня направили в командировку в угольные шахты Донбасса. Я пробыл там больше месяца. Каждое утро я спускался в различные шахты Донецка (бывшие названия – Юзовка, Сталино). Я никогда не мог забыть, в каких тяжелейших условиях работали шахтеры. Почти ни один день не обходился без убитых и раненых, я уже не говорю о невыносимой жаре, о льющемся сверху потоках воды, о завалах, о том, как тяжело было дышать угольной пылью, как долго надо было идти до рабочего места и т.д. Бывал я и в бараках, в которых жили шахтеры со своими семьями.

Обо всем этом я написал большой доклад в правительство. Я не знаю, отослали ли мой доклад, все были заняты делом Кубанина—Маркуса.

В Донецке я прочел много книг Бальзака, много подумал о грозящем близком будущем. Там я познакомился с симпатичным, малоразговорчивым, интересным человеком доктором экономических наук Модестом Иосифовичем Рубинштейном, приехавшим в командировку. Он тоже жил в гостинице. С ним мы говорили о том, что война приближается к нам, к нашей стране. Он, в отличие от «стратегов» нашего института, хорошо понимал ее последствия. С Модестом мы снова встретились в 61-м стрелковом полку, когда он приехал с комиссаром и начальником политотдела дивизии. Он, несмотря на свои немолодые годы, тоже записался в народное ополчение, мы вместе с ним выходили из окружения и воевали под Москвой.

Победа Гитлера, заручившегося договором о дружбе со Сталиным, были действительно велики. Быстро пала Польша, и «освобожденные» Западная Украина и Западная Белоруссия присоединены к СССР. Немцы в Румынии, и мы отрезаем в нашу пользу Бессарабию. А вот немцы торжествуют вместе с нами победу над своим старым врагом — Францией!

В тот день я записал в своем дневнике следующие слова: «15 июня 1940 года. Немцы взяли Париж. Война — в разгаре. Скоро, очень скоро скажет свое слово СССР».

Я не сомневался в том, что война приблизилась к нам, что нет никаких оснований для наших восторгов по поводу немецко-фашистских побед. Между тем, жизнь продолжалась. Газеты разоблачали «прогнивший» английский и французский империализм, потешались над разгромленной Польшей. Советская пропаганда обвиняла руководителей Великобритании в том, что они, несмотря на мирные предложения немцев, не хотят установить мир, то есть призвала англичан капитулировать перед фашистами.

В эти дни торжественно отмечали 50-летие со дня рождения второго человека в Политбюро, политического деятеля

Страны советов и крупного дипломата Молотова. Он недавно посетил Берлин и в газетах печатали его фотографии: он стоял и сидел совсем рядом с вождем Германии Адольфом Гитлером.

В первой половине июня, за одну неделю до начала войны появилось сообщение ТАСС о мирных намерениях по отношению к нам наших немецких союзников. Длинные составы наших поездов, наполненные стратегическим сырьем и зерном, бесперебойно двигались, проносясь туда, на Запад, к немцам.

В ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

О войне я узнал, когда ко мне прибежал мой сосед Мотя Виленский и сказал: «Слушайте радио, сейчас будет важное сообщение!» В тот день я записал в своем дневнике: «22 июня 1941 г. 14 ч. 20 м. Пасмурный дождливый день. Все небо в темных, тяжелых тучах. Два часа назад выступал по радио В.М. Молотов. Сегодня утром в 4 часа немецкие войска перешли нашу границу. Они обстреляли и бомбили Житомир, Киев, Севастополь, Каунас... Итак, началась война. Настал час «последнего и решительного боя». «Наше дело правое, победа будет за нами», — сказал Молотов. Да, наше дело, единственное в мире, правое, великое дело. В этом я уверен полностью. За это великое правое дело я готов (так же, как и миллионы других) отдать жизнь. По радио объявлено: “В городе Москве угрожаемое положение”».

После речи Молотова о «внезапном и вероломном» нападении наших друзей немецких фашистов я, как и другие члены партии, пошел к райкому. Там, в числе других, получил задание идти в продуктовые магазины и уговаривать «напрасно паникующих граждан, скупающих продукты. Их следует убеждать, что продуктов у нас в стране много, и всем хватит на время войны». Но никто нам почему-то не верил. Когда я вернулся домой, моя жена, Лидия Осиповна, спро-

сила: «Может быть, и нам все-таки надо купить продукты в запас?» Но тут я победил, и мы, к сожалению, ничего не запасли. Второе задание, которое я получил от райкома, было не разумнее первого — уговаривать родных не плакать, провожая на фронт своих сыновей, мужей и братьев, ведь все они скоро вернутся с победой. Третье задание было — выступать с речами у новобранцев перед их отъездом на фронт. Помню, что только в последний раз я остался доволен своим выступлением. Это было через 11 дней после начала войны, когда я мог сказать, что и я через несколько дней уйду на фронт в составе дивизии народного ополчения Киевского района города Москвы.

Наша добровольческая дивизия получила номер «21». В связи с ее созданием в институте состоялся митинг всех сотрудников. Он проходил горячо. Один за другим поднимались люди и говорили о своей готовности идти на фронт, защищать Москву, защищать страну. Особенно темпераментно выступали аграрники, кандидаты наук, старшие научные сотрудники Руденко и Болгов, да и многие другие.

После митинга ученые по одному заходили в партком и сдавали свои заявления. Когда я вошел со своим заявлением, Анчишкин сказал мне: «Вы, товарищ Маневич, освобождены от службы в армии из-за плохого зрения. Кроме того, у вас двое детей, а это дело добровольное, вы можете не идти». Мне показалось, что секретарь говорит со мной неискренне, что он опять проявляет ко мне недоверие из-за моего непролетарского происхождения. Я ответил: «Это мое твердое решение. Я обязательно пойду на фронт». В этот день после митинга подали заявления более сорока человек из ста сотрудников.

В один из июльских дней я в последний раз видел свою маму. Она только что вернулась с сестрой из поездки в Крым, где они были в гостях в семье мужа Мани, в еврейской деревне вблизи Лариндорфа. Маня рассказывала, как тяжело им было добираться в Москву. Мама, узнав, что я уйду на фронт, крепко обняла меня, прижалась ко мне и спросила:

«Зачем ты идешь воевать, если тебя никто не зовет и ты освобожден от военной службы?» Я пытался ей объяснить, что не могу не идти. Это мой долг защищать страну. Не помню, что еще я ей говорил, убеждал, что скоро вернусь. Мама не спорила со мной, молча распрощались, оказалось, навсегда. Она умерла в 1942 году, не дождавшись меня.

Фашисты расстреляли семью Давида, его веселую, жизнерадостную жену Марьясю, дочь Лену и маленького сына. Они убили брата мамы дядю Хаима и тетю Сору. На войне погибли мои двоюродные братья – Борис Маневич и Цала Сект. В ленинградской блокаде умерли семья Хитрик, сестры Йоффе, двоюродный брат Рувим, погибли родственники, жившие в Толочине и Витебске.

6 июля мы, подавшие заявления в ополчение, собрались возле здания нашего института на Волхонке, 14. Некоторые шли, сгибаясь под тяжестью огромных чемоданов и сумок, которые были набиты разными вещами, тщательно упакованными их заботливыми женами. Нашу большую колонну провожал заместитель директора Л.М. Гатовский. Он купил нам всем билеты в метро. Временной казармой стала одна из московских школ. В тот же день многие добровольцы постепенно покинули эту казарму и со своими тяжелыми чемоданами и сумками вернулись домой. Среди ушедших: Руденко, Хромов, Бровер, Караваев, Болгов, Маевский, Виленский, Городецкий.

Мы пробыли в казарме двое суток. Из наших сотрудников до конца остались, как я помню, 13 человек, в их числе: И.А. Анчишкин, Д.Т. Шепилов, Б.Л. Маркус, Бессонов, Кронрод, Телятников, Слободской, Куркин, Маневич и аспиранты Пономарев, Арутюнян, Иванов, Варанкин.

8 июля 21 стрелковая дивизия, полностью укомплектованная командирами, политработниками и красноармейцами, покинула Москву и пошла навстречу врагу.

Меня провожала моя жена, она на руках держала младшего сына Виталия. Со старшим сыном Львушкой мне удалось попрощаться в Поречье, куда он выехал с нашим ака-

демическим детским садом. Мне очень хотелось, чтобы сын запомнил меня. Я забрал его из группы, мы гуляли по лесу, и я пел ему боевую песню о том, что «Красная армия всех сильней».

Дивизия выходила из Москвы во второй половине дня, солнце уже садилось. На опушке леса стоял молодой командир нашей дивизии полковник Богданов. Он, как мне кто-то сказал, отличился в боях в Финляндии, когда он командовал не то ротой, не то батальоном. Я запомнил этот вечер, запомнил, что, глядя на подтянутого комдива, который смотрел на проходивших мимо него глубоко штатских людей, я думал, а сколько останется в живых после войны из этих ополченцев. Я, конечно, не мог себе представить, что из 12 000 человек вернется лишь 205, включая раненых и контуженых!

Я шел рядом со своим приятелем Яковом Абрамовичем Кронродом в 1-м отделении, 1-м взводе, 1-й роте, 1-м батальоне 61-го стрелкового полка. Мы шли, пока стало совсем темно, и тогда был объявлен привал. Первый раз я спал в шалаше из веток. Так начиналась моя фронтовая жизнь.

Нашу дивизию долго называли «профессорской». В ее составе было много научных работников различных институтов Академии наук — истории, философии, мирового хозяйства и мировой политики, экономики, права, а также Института Маркса—Энгельса—Ленина, Государственной библиотеки им. Ленина, артисты театра Вахтангова и Мосфильма, рабочие и служащие Дорхимзавода, фабрики им. Сакко и Ванцетти, Хладокомбината и других предприятий и учреждений Киевского района.

Рядовым красноармейцем я был недолго: через несколько дней меня вызвали в политчасть полка и сообщили, что райком партии рекомендовал назначить меня секретарем комсомольской организации полка. Комиссаром полка был у нас очень нервный, крайне беспокойный человек — Крылов, а секретарем партийной организации — старый коммунист Родионов, инструктором по пропаганде был тоже пожилой

человек — Кураш. Мы четверо и составляли политчасть 61-го стрелкового полка.

Началась военная подготовка. Большинство красноармейцев и политработников никогда в армии не служили. На должности командиров взводов, рот и батальонов прислали молодых людей, только что завершивших учебу в военных училищах. Первое время в дивизии не было оружия. Винтовки привезли дней через 7–10, тогда же мы переоделись в военную форму, а свою гражданскую одежду отослали домой. Получили револьверы без кобуры. Я долго носил свой наган, засунув его под пояс.

Обучение ограничивалось строевой подготовкой, изучением винтовки и уставов. Я организовал во всех подразделениях полка комсомольские ячейки, провел собрания. Каждый день проводил в полку, знакомился с молодежью. Как-то во время собрания, которое шло в полку, к нам приехало почти все политическое руководство дивизии: комиссар И.А. Анчишкин, начальник политотдела М.С. Абалин, его заместитель Д.Т. Шепилов, старшие инструктора М.И. Рубинштейн и А.Ф. Меденников. Они сообщили, что ими принято решение назначить меня помощником начальника политотдела дивизии по комсомолу. На мое место в полк прислать нынешнего помощника, то есть поменять нас местами.

Через день или два я, попрощавшись со своими однополчанами и захватив свой вещевой мешок, пошел пешком на новое место службы в политотдел дивизии, который в отличие от нашей политчасти находился не в лесу, а в деревне.

Меня провожал Яков Кронрод, которого к этому времени мне с большим трудом удалось перевести из стрелковой роты в политчасть, где ему, под мою ответственность, доверили раздавать газеты командирам и политработникам. В роте ему было тяжело, у него было больное сердце, а там тогда рыли окопы, и у Якова случился сердечный приступ. Я едва уговорил комиссара Крылова выдвинуть беспартийного Кронрода на эту «ответственную» работу. После длительных уговоров комиссар спросил меня: «Ты за него ручаешься

головой?» И когда я ему сказал: «Да, головой ручаюсь!» — он дал согласие.

В тот же день я на полковой полуторатонке поехал в роту, которая рыла окопы далеко от полка, и забрал Якова в политчасть. Этим я спас его — вскоре начались бои, и весь первый батальон целиком погиб.

Мои обязанности заметно расширились: надо было познакомиться со своими подчиненными во всех трех стрелковых полках и в артиллерийском полку, в отдельных батальонах и других подразделениях. Каждый день я бывал в частях, вел беседы с молодыми солдатами, которые в то время готовились к боям. Бои шли совсем недалеко от нас.

Из моих подчиненных секретарей комсомольских организаций особо выделялся юноша Юрий Озерский, студент исторического факультета МГУ. Это был яркий человек. Он прекрасно знал и любил историю, его с интересом слушали командиры и красноармейцы, он был отличным снайпером, лыжником и парашютистом. Каждый раз, когда я приходил в артиллерийский полк, Юра спрашивал: «Долго ли еще будем стоять без дела?» Я объяснял ему, что большинство ополченцев не имеет никакой военной подготовки, они вообще никогда не служили в армии, и что пока еще есть такая возможность, надо готовить их к предстоящим боям. Пусть они себе готовятся, а мы организуем молодежный отряд и пойдем воевать. Впереди нас ждут ожесточенные бои, фашисты захватывают наши города и села, убивают и издеваются над нашим народом, а мы должны учиться побеждать. (На самом деле мы стояли во втором эшелоне и учились только около двух месяцев.)

3 октября наша дивизия вступила в бой. В то раннее утро наш начальник политотдела Сергей Михайлович Абалин, держа в руке наган, отдавал распоряжения кому в какой полк идти. Меня он послал в артиллерийский полк, и тут я в последний раз встретился с Озерским. Полк вел свой первый бой. Мне тогда еще казалось странным и кощунственным, что наши орудия ведут огонь по домам нашей деревни, где живут наши люди. Я видел, как ярко горели дома.

В ту же осень 1941 года наш арtpолк был по приказу командования переброшен в Керчь. Там, как мне рассказала участница тех боев Дора Годзинер, Юрий Озерский в окружении большой группы немецких солдат, которые хотели захватить его живым, отбивался до последнего патрона. В том же бою погиб и комиссар арtpолка, кандидат наук, ученый секретарь Института экономики Куркин.

После первого боевого крещения все политотдельцы, оставшиеся в живых, собрались в нашей землянке. Здесь, может быть, пора рассказать о нашем политотделе. Начальником в то время был С.М. Абалин, который пришел в дивизию с должности заведующего отделом Института Маркса—Энгельса—Ленина. Это был очень добрый человек, совсем не военный, не умевший и не любивший командовать людьми. Я ни разу не слышал, чтобы он на кого-либо повысил голос, кричал, ругался.

Его любимым вопросом был: «Что ты скажешь в свое оправдание?» Мне казалось, что Абалин тяготится своей должностью начальника политотдела. И действительно, когда позже, после того как дивизия вышла из окружения, комиссар Анчишкин поменял должностями Абалина и Шепилова, который был его заместителем, Сергей Михайлович был этому искренне рад, он оживился и с удовольствием исполнял новую роль.

Дмитрий Трофимович Шепилов, о котором я уже рассказывал выше, очень мне нравился и раньше, еще в Институте экономики, как человек и как оратор, и я был искренне рад, что и здесь он с нами, и что он мой непосредственный начальник. Он оказался смелым, отважным человеком, никогда не кланялся пулям, не бегал от обстрелов и бомбежек в укрытия.

О старшем инструкторе по разложению войск противника, докторе экономических наук Модесте Иосифовиче Рубинштейне я тоже упоминал выше, ему в то время было не менее 50 лет. Все уважали его и любили.

В политотделе я особенно подружился со старшим инструктором Николаем Никитичем Мининым, работав-

шим в Библиотеке им. Ленина и вступившим в ополчение. Вскоре (17 февраля 1942 года) он в бою потерял руку и вернулся в Москву. Наша дружба с ним продолжалась до самой его смерти.

В политотделе работал философ и химик Бонифатий Михайлович Кедров. Он в ополчение пришел вместе со своей женой. Мы сразу не могли понять, кто из них Фаня, а кто Таня. Оказалось, что Фаня и есть Бонифатий, а Таня его жена. Тогда Кедров был кандидатом наук, а после войны он стал известным ученым, академиком, главным редактором журнала «Вопросы философии», директором Института философии.

Б.М. Кедров был сначала начальником химической защиты полка, потом стал инструктором политотдела. В боях за деревню Вышнее он был назначен комиссаром специального батальона. Под руководством старшего лейтенанта Жукова и Кедрова батальон выбил немцев из деревни. Это было большим и важным событием. О нем командование доложило армии и фронту, но ничего не было сделано для закрепления успеха. Немцы контратакой выбили наш батальон из деревни. Кедров в этом бою был ранен. Его привезли в санях в политотдел. Я разрешил Тане сопровождать его в медсанбат и в госпиталь. Через несколько часов после его отъезда за ним пришли: командование армии приказало расстрелять командира и комиссара за сдачу деревни. Старший лейтенант был тут же расстрелян, а Кедрова спасло ранение.

После выздоровления Бонифатий Михайлович вернулся в Институт философии, написал много книг и статей, активно участвовал в общественной жизни, боролся с антисемитизмом. Мы дружили с Кедровым до конца его дней. Он умер в 1987 году.

Константин Аполинарьевич Юшак работал в политотделе старшим инструктором по пропаганде. Он был кандидатом экономических наук. Нас связывала крепкая дружба. Это был смелый, красивый, умный, добрый, интеллигентный человек. Костя погиб 1 марта 1942 года. Это было в те дни,

когда дивизии перешла в наступление. Его смерть особенно памятна мне еще и потому, что накануне, за день до того, я предвидел, чувствовал, что завтра он обязательно будет убит. В тот вечер, когда мне это увиделось, мы долго с ним лежали на одной кровати в какой-то прифронтовой деревне. В тот день нам привезли подарки от москвичей, мы выпили с ним по стакану вина. Он лег на спину и говорил мне о том, что из письма узнал, что недавно в Москве у него родился сын. Он рассказывал о своей жене, их дочери. И в этот момент у меня блеснула страшная мысль, которую я хотел, но не мог отогнать, — завтра Костя будет убит, и он будет вот так же лежать на спине, как лежит сейчас. Когда на следующее утро Костя мне сказал, что пойдет в полк, я всячески старался отговорить его, придумывал разные причины, и мне показалось, что я его уговорил. Он снял шинель. Но через некоторое время Костя снова оделся и стал уходить. Я опять старался его задержать. Но на этот раз мне это не удалось. Я буквально не находил себе места, ждал его, надеялся, что он вернется живым. Поздно вечером мертвого Костю Ющака привезли на санях, он лежал так, каким я его видел вчера.

Сейчас, когда через 50 лет я пишу эти строки, я подумал, а может быть, надо было тогда сказать о моем предвидении. Но я этого, наверное, не смог бы сделать, потому что стыдился, думал, что Костя просто высмеял бы мои суеверные бредни, а может быть, не пошел бы и остался жить?

Погиб и третий мой фронтовой друг, старший батальонный комиссар, Иван Иванович Новиков, который пришел в нашу дивизию под Москвой. Это был мой земляк из Белоруссии. До войны он работал ответственным редактором газеты «Белорусская веска». Иван Иванович был толстым и добродушным человеком. В начале войны он потерял свою семью и очень горевал. Но потом с радостью прибежал ко мне и сообщил, что семья нашлась, и даже пришло от нее письмо. Новиков предчувствовал, что его обязательно убьют, и говорил мне об этом предчувствии. Я до сих пор жалею о том, что не помог ему перейти на другую работу. Мне так и

не удалось уговорить Шепилова взять Новикова в политотдел армии.

В нашем политотделе служили также профессор Борис Львович Маркус, философ Александр Макаровский и другие. Тогда не только в политотделе, но почти во всех батальонах и ротах нашей профессорской дивизии были люди с учеными званиями и степенями, которые служили политруками, солдатами, журналистами.

В те дни, когда так трагично началась война и фашистские армии, захватив Минск и Смоленск, приближались к Москве, у меня, вероятно, так же, как и у других, не возникала мысль о том, что московское ополчение, в котором участвовало 160000 человек, среди них цвет столичной интеллигенции — ученые, артисты, писатели, журналисты, художники, музыканты, — было недопустимой и ничем неоправданной растратой духовного потенциала страны. Нет, я тогда так не думал. Наоборот, мне казалось, нельзя не идти на фронт, нельзя не защищать страну от фашистов, это и было главным делом каждого честного человека, который мог держать в руках оружие. Но сейчас, когда я знаю о том, как быстро и как печально закончилось ополчение, как была окружена и уничтожена почти вся наша 33-я ополченческая армия, сейчас мне кажется, что посылать совершенно необученных плохо вооруженных людей, может быть, было еще одним преступлением сталинского руководства, всегда ненавидевшего интеллигенцию.

Итак, дивизия вступила в свой первый бой 3 октября 1941 года. Тогда рано утром на опушке леса Сергей Михайлович Абалин сообщил нам, что немецкие соединения прорвали фронт и приближаются к нашему второму эшелону, что некоторые наши полки уже вошли в соприкосновение с противником. Мы тут же разошлись и разъехались в различные соединения дивизии.

Через день, как и было нам приказано, мы вернулись в политотдел. Он находился в лесу, в блиндаже. Начальник штаба полковник Первенцев нам сказал, что со всеми полка-

ми прервана связь, и дивизия находится в окружении. Начался наш выход из окружения. Его возглавил Д.Т. Шепилов. Был уже вечер, когда мы, политотдельцы, часть штаба дивизии с комендантским взводом, вышли из блиндажей и двинулись по лесу. В этот момент прямым попаданием снаряда был полностью разрушен только что покинутый нами блиндаж. Позже какой-то командир, который пришел в политотдел, увидел наш разрушенный блиндаж, добрался в Москву и рассказал сотрудникам нашего института, что политотдельцы Шепилов и Маневич погибли.

Мы сразу попали под сильный минометный огонь. Падали убитые и раненые. Они оставались лежать. Мы шли и шли. Стрельба слышалась со всех сторон. Дмитрий Трофимович шел впереди, а мы за ним. До этого штабные машины увезли все командование дивизии – командира, начальника штаба, комиссара и начальника политотдела. Вечерело, но солнце еще не зашло. Шепилов отправил одного из красноармейцев комендантского взвода разведать, свободен ли путь. Разведчик не вернулся. Дмитрий Трофимович послал второго. И он не вернулся. Куда они пропали, что с ними случилось? Скорее всего, попали в плен? Отряд стоял. Стрельба продолжалась. Шепилов подозвал меня и сказал: «Разведчики не вернулись. Пойди в разведку, а мы тебя здесь подождем». Я сказал, вынув револьвер: «Если я не вернусь, знайте, Дмитрий Трофимович, я в плен не сдамся, я застрелюсь».

Я вернулся и доложил, что дорога не обстреливается. Мы пошли дальше и вскоре соединились с остатками двух стрелковых полков нашей дивизии. Тогда, когда мы выходили из окружения, и в течение всей войны я был готов к смерти. Мало того, когда погибли мои два друга – Ющак и Новиков, и погибли многие другие, мне было как-то неудобно, что я еще жив, а их уже нет. Больше всего на войне я боялся попасть в плен – я ведь и еврей, и коммунист, и политработник. Поэтому я принял твердое решение вовремя покончить с собой. Для этого, кроме безотказного нагана, у меня был маленький бельгийский пистолет, который тоже стрелял хорошо.

Мы выходили из окружения еще 6 дней. Все запасы были съедены, мучили жажда и голод. Не помню, на какой день Минин вынул из своего кармана кусок сахара, разломал и отдал мне половинку. Рядом едва шел старый, обросший Модест Рубинштейн. Я разделил свою половинку сахара и четвертинку отдал Модесту. Шли дальше. Увидели кормовую свеклу, стали ее есть. Усилилась жажда. Набредли на болото, бросились из него пить. Вспоминаю, что я думал, как это прежде я не дорожил тем, что мог вволю пить чистую воду и не запасся хлебом или сухарями. Когда мы, наконец, вышли из окружения, я долго таскал с собой в карманах и в противогазе сухари на всякий случай, а вдруг опять попадем в окружение.

Идти было тяжело еще и потому, что незадолго до начала боев я сбежал из госпиталя, где несколько дней лежал болел паратифом, а сбежал потому, что боялся потерять свою дивизию, которая должна была начать боевые действия.

Мы вышли из окружения в ночь под 10 октября. Вышли тихо, без боя через деревню, занятую немцами. Дмитрий Трофимович отправил меня и еще нескольких обессиленных, в том числе Дусю Рязанову — нашу машинистку, ставшую потом секретарем политотдела, на попутной грузовой машине. Помню, что тогда пожилой солдат в кузове спросил меня: «Как вы думаете, почему немцам удалось так разгромить нашу армию, что вот-вот мы окажемся в Москве и за Москвой?» Он тут же и ответил на свой вопрос: «Потому что Сталин в тридцатых годах разгромил крестьянство, и вот сейчас солдаты-крестьяне, а их большинство, не намерены защищать своих мучителей и убийц и сдаются в плен».

Я тогда с ним не был согласен. Сейчас же я думаю, что это, действительно, было одной из причин успехов немецко-фашистской армии в начале войны. В этой связи я вспоминаю еще один эпизод. Как-то во время нашего отступления по Московской области мы подъехали к дому на окраине деревни. К нам подошла пожилая колхозница и недружелюбно сказала, чтобы мы отъехали от ее дома, потому что не

хочет из-за нас пострадать от немцев, которые вот-вот придут сюда. В тот день я подобрал одну из листовок, сброшенных фашистами с самолета. В ней, как и в других подобных листовках, говорилось, что немецкая армия пришла освобождать русский народ от жидов, коммунистов и политработников. В этой листовке, кроме того, фашисты обращались к колхозницам, чтобы они смело выходили в поле собирать урожай, повязав белые платки. Я посмотрел в поле — там работали женщины, их было несколько сот человек, а на головах у них были только белые платки.

Позже, когда наша дивизия перешла в наступление и освободила многие подмосковные деревни от фашистов, нас уже радостно встречали в этих деревнях. Одна женщина мне рассказала о своей соседке, которая нетерпеливо ждала немцев. Она поднимала руки к немецким самолетам и молитвенно призывала: «Прилетайте поскорее к нам, ангелочки, освободите нас!»

Некоторые женщины перед приходом немцев, «освободителей», украшали свои иконы чистыми вышитыми полотенцами. Но фашисты, войдя в дома, тут же срывали полотенца, требовали «млеко» и «яйки», грубо вышвыривали колхозников из их домов. Вот почему люди очень скоро узнавали, что немецкие фашисты оказались еще хуже своих советских угнетателей, встречали нас как родных, как настоящих освободителей.

Наше отступление продолжалось до середины ноября. Я с большой группой командиров, политработников и красноармейцев из разных частей, в том числе со всей редакцией нашей дивизионной газеты «Боевое знамя», был задержан по пути к Туле. Нас всех собрали и сообщили, что перед нами будут выступать работники Главпура (Главного политуправления). Действительно, в тот же день в большой избе перед нами выступили несколько полковых комиссаров. Они сказали, что в ПУРе стало известно, что наша дивизия, как и другие соединения народного ополчения, полностью разгромлена. Мы все должны влиться в новую,

кажется, 84 дивизию. На этом совещании я попросил слово и оказал: «21-я стрелковая дивизии вышла из окружения со своим знаменем, сохранив два стрелковых полка и артиллерийский полк. Я выходил с ними. Сейчас дивизия, ведя аррьергардные бои, движется по направлению к Туле, и мы едем к ней».

В ответ на мою речь полковой комиссар меня одернул, обругал и сказал, что я не в курсе дела, и раз Главпур считает, что 21-й дивизии больше нет, значит, ее нет. Что касается меня, то он назначает меня в новую дивизию на ту же должность помощника начальника политотдела, и чтобы я немедленно приступил к исполнению своих обязанностей. Назначения получили и другие командиры и политработники. Никаких возражений больше не было. Но в тот вечер я переговорил со многими нашими однополчанами. Мы договорились бежать из этой дивизии в свою. Тихо расселись на двух полуторках и выехали в район Тулы, где, по нашим сведениям, должны были располагаться отступающие подразделения нашей 21-й стрелковой дивизии.

Через один, не то через два дня мы встретили своих. Я шагал первым. Шел мелкий дождь. К нам приближались усталые, замученные бойцы нашей дивизии. Впереди шел комиссар И.А. Анчишкин. Увидев нас, он обрушил свой гнев на мою голову. Он кричал, что, когда они вели бои, я самовольно сбежал в тыл. Это было несправедливо и поэтому очень обидно. Моя попытка сказать, что я поехал в тыл после выхода из окружения по приказу заместителя начальника политотдела Д.Т. Шепилова, ни к чему не привела, комиссар не хотел меня слушать, а Дмитрий Трофимович почему-то ничего не сказал. Правда, позже он обнял и успокоил меня и, наверное, рассказал Анчишкину, что я уехал не самовольно.

За несколько дней, что я с группой ополченцев был вне своей дивизии, комиссар совершил несколько перестановок в политотделе: поменял должностями Шепилова и Абалина, а вместо меня назначил секретарем комсомольской организации 1315 старшего политрука Железняка. Меня

комиссар приказал назначить политруком пулеметной роты. С этим приказом не согласился Шепилов. Он назначил меня на должность инструктора политотдела по информации, а работавшего до меня Петра Вышинского, кандидата философских наук, сотрудника Института философии Академии наук, назначил начальником дивизионного клуба.

Не успел я еще приступить к своей новой должности, как меня вдруг вызвали на заседание дивизионной партийной комиссии. На этом заседании я увидел, кроме председателя, А.Ф. Мединникова, Д.Т. Шепилова, И.А. Аичишкина, еще и секретаря политотдела Мишу Егорова, человека мало приятного и весьма трусливого.

Председатель открыл заседание и сообщил, что поступило заявление от коммуниста Егорова, и зачитал его. В нем говорилось, что после выхода из окружения член ВКП (б), помощник начальника политотдела по комсомолу тов. Маневич в личной беседе с ним, Егоровым, сказал, что «командир, начальник штаба, а также заместитель начальника политотдела проср..ли такую дивизию, ибо вместо руководства ею они занялись бляд...ом со своими “полевыми подвижными женами”».

Так, действительно, говорил мне Егоров. Поэтому я тут же сказал: «Ведь это все не я, а ты мне говорил, но я тебе не верил и не верю, чтобы комиссар дивизии, старый большевик, участник Гражданской войны мог в такое время, когда решается судьба страны, заводить романы!»

Я говорил искренне, и Анчишкин поверил мне, тут же обругал Егорова, назвал его клеветником. Егоров молчал. Дело было прекращено. Ни тогда, ни сейчас я так и не мог понять, зачем понадобилось Егорову оклеветать меня. Может быть, он это сделал потому, что боялся, как бы я не рассказал о разговоре с ним, и решил опередить меня? Или, может быть, из зависти к тому, что ко мне все, за исключением Анчишкина, хорошо относились? Не знаю до сих пор, во всяком случае, если бы тогда поверили ему, я был бы изгнан из политотдела, и вся моя жизнь, если бы она

сохранилась, пошла бы иначе. Позже я узнал, что Егоров не только феноменальный трус, который страшно боялся пули, бомбы и мины, но и стукач.

Дивизия была выведена на отдых. В нее влились новые солдаты, командиры и политработники. На сей раз это были не только москвичи, но и из других, в том числе и из разгромленных, соединений. Значительно обновился и политсостав. Но дивизию еще долгое время называли «профессорской».

Маршал Г.К. Жуков в своих воспоминаниях о битве под Москвой писал, что первой дивизией, начавшей контрнаступление под Москвой, была ополченческая 21-я стрелковая дивизия. Общее контрнаступление началось 6 декабря, а нашей дивизией – 26 ноября. В эти дни дивизия получила новый номер: отныне до Сталинградской битвы она стала называться 173 стрелковой дивизией. Она участвовала в освобождении ряда городов, многих деревень, сел и поселков. За первые две недели наступления с 26 ноября до 9 декабря в упорных боях на каширском направлении она так и не впустила врага в Каширу и в составе кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова освободила 78 населенных пунктов, в том числе города Венев, Белев, Мордвес. Дивизия захватила 29 танков, 34 орудия и зениток, а также много грузовых и легковых машин и мотоциклов.

После этого 12 декабря 173 стрелковая дивизия приказом командующего Западным фронтом была переброшена на Алексинское направление и подчинена 49 армии генерала И.Г. Захарова. Здесь дивизия прорвала оборону немцев, форсировала Оку, захватила станцию «Алексин», чем способствовала освобождению города Алексин. Немецкие дивизии начали беспорядочное отступление на Запад.

Полковник П. Ильницкий, ветеран нашей дивизии, в статье «Бои за Варшавское шоссе», опубликованной в книге «От Москвы до Берлина», писал: «Наиболее сильные бои развернулись за деревню Бизюкино. Ночью разведка установила, что на подступе к Бизюкино имеются мощные укреплени-

ния, дзоты, сплошные траншеи, проволочные заграждения с подвесными минами».

Перед нашим наступлением я был направлен Д.Т. Шепиловым в 1313 стрелковый полк. Комиссаром этого полка был в то время М.Т. Пономарёв. После войны он защищал диссертацию в Военно-политической академии, и я с удовольствием выступил у него первым официальным оппонентом. Я пришел в полк как раз в тот момент, когда проводилось совещание в батальоне, перед которым была поставлена боевая задача участвовать в освобождении Бизюкина.

Намеченное наступление, казалось, было всесторонне продумано, подготовлено и обеспечивало быструю победу. Командир говорил о взаимодействии пехоты, артиллерии и авиации, а также подразделений 1313 и 1315 стрелковых полков нашей дивизии, то есть опять верным оказалось известное изречение: «Все было хорошо на бумаге, да подвели овраги».

После дружеской беседы с хорошей закуской (огромная сковорода жареной картошки) в политчасти полка мы вместе с секретарем партбюро полка Иваном Степановичем Левко пошли в сводный батальон, который должен был атаковать Бизюкино. Вышли в холодный зимний вечер. В дороге и на привалах меня окружали молодые красноармейцы, мы говорили о Москве, о нашей дивизии, о том, как будем жить после войны. Многие спрашивали, когда она окончится. Вспоминали московскую жизнь, которая здесь казалась намного лучше, чем она на самом деле была. Шли через лес, местами заминированный, но все обошлось без жертв. Шли весь вечер и всю ночь. Когда мы подошли к нашей цели, деревне Бизюкино, было совсем светло.

Деревня стояла на возвышенности. Немцы видели нас. Было тихо. На белом снегу мы в серых шинелях были как на ладони. Перед нами стоял одинокий каменный домик. Это был наблюдательный пункт батальона. Левко сказал мне, что нам надо идти туда вместе с командиром батальона. Я сказал, что туда не пойду. Не пошел потому, что после наших

дружеских бесед с бойцами я уже не мог расстаться с ними и уйти в относительно безопасное место. Левко и командир батальона остались в этом домике.

Я вместе с командиром и политруком роты продолжал идти вперед. Когда мы совсем приблизились к деревне, начался бой. Здесь было достигнуто полное взаимодействие, только не наших сил, а противника. Одновременно немцы открыли интенсивную стрельбу из автоматов, минометов, артиллерии. Но самым страшным казался мне пулеметный огонь. На пути нашего наступления появилась непрерывная лента трассирующих, каких-то цветных пуль. Тут же стали раздаваться крики падающих раненых. Рядом со мной упал убитый командир, а вслед за ним был ранен политрук роты. Мы залегли. На рукаве моей шинели красные звезды комиссара. Я понимал, что ни в коем случае нельзя здесь долго лежать на открытой местности, надо во что бы то ни стало сделать рывок и добежать до лощины, что находилась вблизи деревни. Подняться было невероятно трудно. Я был в тот момент в строю единственным командиром, и люди, думал я, ждут моего сигнала.

Я вспомнил о своих двух сыновьях, но сказал себе: «Ты призывал красноармейцев защищать страну, а сейчас докажи, что ты имеешь право быть честным коммунистом и комиссаром!» Как бы не представлялись сейчас мои тогдашние мысли, но я очень хорошо помню, что именно так я думал в том бою. Я поднялся с криком: «За мной!» До сих пор не понимаю, как это мне и вслед за мной десяткам бойцов посчастливилось прорваться сквозь этот сплошной огонь и добежать до деревни.

Здесь под самой деревней мы залегли, оказали помощь раненым и ждали подмоги от бойцов 1315 стрелкового полка. Они должны были подойти с другой стороны деревни.

Очень хорошо помню также, что, когда мы лежали в снегу под Бизюкино, я вспоминал свои недавние переживания из-за того, что задержалась на несколько месяцев защита моей кандидатской диссертации. Они, эти переживания,

казались перед лицом близкой смерти чрезвычайно мелкими и ничтожными. Я думал, если после этой войны останусь жив, то никогда не буду переживать по таким пустякам, ибо все они ничего не стоят по сравнению с жизнью.

Ночью мы совместно с подразделениями 1315 стрелкового полка ворвались в деревню. Полковник Ильницкий об этом бое писал: «Ночью, после нескольких атак 1313 стрелковый полк выбил гитлеровцев из дзотов, а 1315 полк обошел деревню с фланга. Несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь, противник был разбит и поспешно отошел из Бизюкино и ряда прилегающих деревень».

Дивизия вела упорные бои, мы непрерывно наступали. Немцы, хотя отчаянно оборонялись, но отступали, бросали свою технику. По дорогам стояли разбитые автомобили, пушки, застывшие танки. Сначала этому трудно было поверить, ведь совсем недавно они овладевали одним городом за другим, окружали, брали в плен и уничтожали сотни тысяч, и даже миллионы, наших людей... И вот все изменилось, мы в самом деле гоним их, завоевавших чуть ли не всю Европу и захвативших большую часть территории нашей огромной страны. Трудно передать чувства наших солдат и командиров. Мы опять поверили Сталину, который сказал: «Еще полгода, годик и немецко-фашистские войска будут полностью разгромлены».

Поэтому, когда накануне нового 1942 года дивизия получила приказ подготовиться к переходу в глубокий тыл противника, мы, понимая, что для нас такой поход вряд ли может окончиться благополучно, стали уверенно готовиться к нему: освободились от лишних вещей, отсеивали старых и больных. Так из работников политотдела отправили в Москву Б.Л. Маркуса и М.И. Рубинштейна. Все написали письма родным. Я своим писал, что если долго не будут приходить письма, пусть не беспокоятся, у меня просто не будет времени их написать и послать. Каждый получил сухой паек, а водку разливали в котелки на два человека. Моим напарником был Николай Никитич Минин, который, получив ее во

дворе нашего дома, стал громко звать меня. Когда я вышел, он протянул мне крышку от котелка. Мы с ним там же во дворе по очереди выпили этот ценный остаток.

В тот же предновогодний вечер мы, четверо друзей: Минин, Новиков, Ющак и я — помчались в санях к деревне, откуда нам предстояло перейти линию фронта. До конца дней моих не забуду эту поездку в предновогоднюю ночь. В лесу было светло от яркого белого снега, который лежал на ветвях деревьев, и от луны. Вдруг мы обнаружили, что потеряли чьи-то сапоги (кажется, мои), остановились и пошли их искать. Нашли.

К деревне мы подъехали с опозданием. За это нас дружески обругал Шепилов. Потом была встреча Нового года. Все мы были молоды, и нам казалось, что близка победа — «полгодика—годик». Говорили о том, как и где все мы встретимся после победы. Никто из нас не знал, что до желанной победы еще ой как далеко и что 17 февраля Никитич потеряет руку, что 1 марта будет убит Ющак и что весной погибнет Иван Иванович.

Назавтра, то есть 1 января 1942 года, мы узнали, что приказ о нашем переходе в тыл отменен. Его пришлось отменить потому, что немцы обнаружили нас и нам не удалось бесшумно, незаметно перейти линию фронта. Я не помню, чтобы кто-либо горевал по этому поводу, но, кажется, и особой радости тоже не было.

Успешное наступление советских войск под Москвой продолжалось, продолжалось и наступление нашей дивизии. Со второго января дивизия вела бои за Полотняный завод — владения Гончаровых — семьи жены Пушкина. На Алексинском и Детчино-Покровском направлении дивизия освободила 223 населенных пункта, в том числе Полотняный завод, захватила 28 танков, 16 орудий и много других трофеев.

Противник оказывал все большее сопротивление, бои приобретали ожесточенный характер, росли потери с обеих сторон. В двух полках дивизии к концу января осталось 146 человек. Приходило пополнение, но и оно быстро выбывало.

Помню, мне поручили поговорить с новобранцами из Узбекистана. Эта беседа состоялась в большом сарае на окраине какого-то села. Их было более 200 солдат, многие из них ничего не понимали по-русски, поэтому беседа проводилась с помощью переводчика. Все, они были необученными, никогда в армии не служили. Один пожилой узбек сказал мне, что у него недавно умерла жена, дома остались 8 детей. Все что я мог для него сделать, это определить в тыл дивизии. Когда начался бой, новобранцы из Узбекистана опустились на колени и стали молиться. Большинство из них были убиты или ранены.

В один день 3 марта скончались после тяжелых ранений оба командира полков — подполковники П.Т. Дуб и В.И. Белогуб. Оба были любимыми и уважаемыми воинами и пользовались огромным авторитетом. Подполковник Белогуб был образованным штабным офицером, он с момента создания дивизии служил начальником оперативного отдела штаба дивизии. Белогуб был послан заменить выбывшего командира 1315 стрелкового полка и вскоре погиб. В этих полках выбыли почти все командиры и политработники. Я встретил присланную нам из армии большую группу политработников — политруков рот и комиссаров батальонов. Мне же Шепилов поручил развести их и представить в полках. Мы ехали в санях. Через месяц из этого пополнения в строю остался один комиссар батальона — Гриша Грин, который потом стал одним из инструкторов политотдела.

Ряды нашей дивизии заметно редели. Все меньше оставалось коренных москвичей-ополченцев, но оставшиеся в живых становились опытными, обстрелянными воинами. Среди нового пополнения тоже были люди, участвовавшие в боях, вышедшие из окружения, окончившие военные училища.

Наступление продолжалось. Мы были в ту холодную зиму хорошо одеты, все солдаты и командиры были в валенках, в зимних шапках, в телогрейках. Немецкое же командование рассчитывало закончить войну до зимы, и поэтому

их солдаты были одеты плохо. Многие из них закутывались в теплые платки (видимо, награбленные в наших селениях), а ноги заматывали тряпками. Мы все чаще брали немцев в плен.

Однажды в деревню, в которой находился тогда штаб дивизии, привели человек 15–20 немецких солдат. Пленных поместили в пустом сарае, охраняемом СМЕРШЕМ. Я подошел к пленным и заговорил с ними. Первый вопрос, который они мне задали, был такой: «Расстреляете ли вы нашего тяжело раненного солдата?» Я с возмущением ответил, что они могут не беспокоиться, ведь они попали в плен не к фашистам, а к коммунистам, мы не убиваем пленных, а раненым оказываем помощь. Я тут же распорядился перевязать раненого. Пришла санинструктор и, хотя без особого желания, выполнила мой приказ, перевязала немцу раненую ногу. Пленные сказали, что они давно ничего не ели. Я отдал приказ накормить их. И это было сделано. Тогда у меня возникла идея, чтобы пленные написали своим однополчанам (а их часть находилась в соседней деревне — в полутора–двух километрах) о том, что они живы и с ними хорошо обращаются. Текст этот написал я, они все его подписали. Я решил, что письмо через микрофон сообщат немцам позже, когда в политотдел вернется инструктор по разложению войск противника, батальонный комиссар Рубинштейн.

Вечерело. Мы хорошо поговорили с пленными. Настроение у них было хорошее. Они были сыты, шутили, видимо, надеялись, что самое страшное у них позади, а впереди возвращение домой. Но вот появился старший лейтенант СМЕРША. Он приказал пленным выйти из сарая. Все вышли. Последним,ковыляя, опираясь на палку, поддерживаемый пленными, вышел раненый солдат. К нему тут же подошел старший лейтенант и, ничего не говоря, выстрелил ему в затылок. Солдат упал на дорогу. Я закричал. Я кричал громко, что он преступник и подлец, что он не имеет права стрелять в пленных, что мы ведь не фашисты. Старший лейте-

нант спокойно опустил револьвер в кобуру и сказал: «Идите, идите, капитан, это вас не касается».

Я поплелся в политотдел, думая о том, что сейчас обязательно пожалуюсь начальнику на этого смершевца, который расстрелял человека только потому, что он ранен. Что это преступление советского офицера видели жители деревни, завтра немцы могут отбить деревню, и они узнают, как мы обращаемся с пленными. Я думал и том, что обманул этих пленных, предложив подписаться под ставшим лживым письмом.

Но я не успел ничего подобного рассказать, я даже не успел дойти до политотдела, как увидел, что навстречу идет взволнованный Сергей Михайлович Абалин. Он не дал мне слова сказать: «Ты что, сошел с ума? С кем ты связываешься? В политотдел приходил офицер из СМЕРША и заявил, что ты приказал перевязать раненого, накормить фашистов и, наконец, ты кричал и оскорблял их работника! Что ты наделал?!» (Позже я узнал, что первая жена С.М. Абалина в это время была в ГУЛАГе. Когда она в 1956 году вернулась, Сергей Михайлович покончил жизнь самоубийством. В чем была причина, я не знаю.)

Не узнал я, были ли потом какие-либо разговоры у моих начальников со СМЕРШЕМ, но меня никто не трогал, и дело против меня не было заведено. Обошлось.

Дивизия продолжала упорные бои в составе 50-й армии, которой командовал генерал Болдин. Сначала перед ней была поставлена задача прорвать оборону немцев на участке Фомино 1-е – Каменка, захватить Варшавское шоссе и соединиться с нашими войсками, действовавшими в тылу противника в районе Вязьмы. (Там находились 1 кавалерийский корпус, 4 воздушно-десантный корпус и партизаны.) Эта задача была выполнена не полностью – освобождена была деревня Фомино 1-е, а все попытки продвинуться на Фомино 2-е встретили ожесточенное сопротивление противника, которого активно поддерживали дальнобойная артиллерия и авиация.

В начале апреля дивизия получила новую боевую технику, был восстановлен 1311 стрелковый полк (бывший 61), надо было решать новую боевую задачу — захватить на Варшавском шоссе деревню Зайцева Гора.

(Через много лет мы вместе с И.А. Анчишкиным и другими ветеранами дивизии посетили Зайцеву Гору и видели там большой памятник, на котором выбит огромный список дивизий и других соединений, выполнявших ту же задачу, что и мы. Вот тут я понял, как много тысяч солдат и командиров сложили свои головы здесь, под Зайцевой Горой.)

Рано утром 23 апреля бойцы вновь восстановленного 1311 стрелкового полка преодолели болота с ледяной водой, глубокий снег и, воспользовавшись метелью, тихо подошли к окраине деревни, и, ворвавшись в нее, гранатами и ручными пулеметами выбили фашистов из домов. Немцы бежали через Варшавское шоссе на северную окраину деревни. Вечером на помощь пришли бойцы 1315 полка, полностью очистили деревню и оседлали Варшавское шоссе. Но уже на следующий день положение изменилось. Противник открыл по деревне ураганный огонь. 10 самолетов трижды бомбили ее, а потом автоматчики, поддержанные семью танками, выбили наших из этого стратегически важного пункта.

Но задача вернуть его осталась. Каждый день воины шли и шли в атаку за атакой. Наши бойцы шли буквально по трупам. Немцы методично расстреливали наступающие цепи. Потери дивизии росли, а приказ командования был тот же — наступать и захватить Зайцеву Гору. Нам говорили, что так приказал Болдину сам Жуков. В те дни в бой посылали уже и всех тыловиков, всех, кто мог держать оружие.

Пошли в наступление и солдаты заградительного отряда, комиссаром которого был историк, профессор, старший политрук Четыркин. Накануне я зачем-то был в заградотряде. Четыркин пригласил меня пообедать с ним. Он угостил меня настоящим украинским борщом. Мы, как полагалось, выпили с ним по сто граммов. Во время этой нашей последней встречи он говорил о своей мечте, получить боевой орден.

Меня удивила его мечта. Мне казалось, что получение ордена дело третьестепенное.

На следующий день утром Четыркин повел свой отряд в наступление к той же Зайцевой Горе. Вскоре в дивизии стало известно, что Четыркин ранен в руку, но уйти с поля боя отказывается. Командир дивизии велел передать Четыркину, что он представляет его к награждению боевым орденом и приказывает идти в медсанбат.

Уполномоченный СМЕРШа заградотряда заявил, что он видел, как Четыркин во время боя заходил за сарай, а после этого оказался раненым — не самострел ли это? В медсанбате эту догадку подтвердили. Потом было срочное заседание военного трибунала, который приговорил комиссара Четыркина к расстрелу.

Комиссар И.А. Анчишкин решил, что приговор приводить в исполнение следует перед всеми политработниками. В тот день в политотделе шло совещание, на которое были созваны все комиссары и политруки, а также работники штаба дивизии. Прервали совещание. Всем приказали идти на окраину села к большому пустому току. Когда я туда пришел, то увидел в середине этого помещения уже вырытую яму-могилу. Комендант ввел Четыркина. Он был без ремня, в расстегнутой шинели без знаков различия. Его подвели к яме. Председатель трибунала прочел приговор. Четыркин сказал, что все это неправда и он хочет перед смертью сказать о том, что невиновен. Он сбросил свою шапку-ушанку на пол. Комиссар Анчишкин перебил его и сказал: «Сейчас я скажу, а потом вы», — и начал свою речь. Во время этой речи я увидел, что Анчишкин дал сигнал коменданту, который тут же выстрелил Четыркину в затылок, а когда тот упал, снова выстрелил в глаз. Так мы и не узнали, что хотел сказать перед своей смертью профессор Четыркин.

Я стоял рядом с грузным, пожилым майором из штаба дивизии Н.А. Власовым. С ним же мы, очень подавленные этой казнью, вышли из сарая, и он сказал: «В этой войне для каждого из нас припасена своя пуля, так лучше ее получить

в бою». Через две или три недели, когда вышел из строя подполковник Дуб, Власов исполнял обязанности командира полка и был убит наповал, его пуля, как он предвидел, нашла его на поле боя.

Бои продолжались, и продолжались безуспешные атаки на Зайцеву Гору. Немецкая авиация усиливала свою активность. Только 28 апреля она совершила здесь 120 самолетовылетов. Они непрерывно бомбили пехоту, наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерии, пути подвоза и тылы.

Наступила распутица. Вода поднялась до 60 сантиметров. Многие солдаты сутками находились в ледяной воде, дороги стали труднопроходимыми, боеприпасы и продовольствие доставлялись бойцам только ночью. Сколько молодых жизней было напрасно отдано только здесь, у Зайцевой Горы, никто не знает и, видимо, уже никогда не узнает.

В это же время зря погибли и те, кто, по приказу главного командования, перешел в тыл противника. Там находились войска под командованием генерала армии Михаила Григорьевича Ефремова (бывший командующий 33 ополченческой армии, куда во время первых боев входила и наша дивизия) и генерала Белова. Последний потом с жалкими остатками своих войск вернулся на еле плетущихся лошадях. Я их видел, когда они выходили. Это было тяжелое зрелище. Но вышло их, счастливых, мало. Большинство осталось там, погибли в тылу противника. Я думал, что если бы тогда немцы не обнаружили нашу дивизию, и мы тоже остались бы там.

Бои под Москвой продолжались. Ни на минуту не утихла канонада артиллерии, в воздухе непрерывно кружили немецкие самолеты, охотились иногда за каждым солдатом. Так, однажды я возвращался на своей белой лошади из какого-то подразделения. Нас заметил фашистский летчик. Он стал делать над нами виражи и обстреливать. Моя до того спокойная лошадка безо всякого понукания со всех ног бросилась по полю к лесу, а примчавшись в лес, тут же остановилась, как вкопанная. Наш преследователь улетел.

Вообще мне на войне здорово везло. Было много случаев, когда люди, которые стояли рядом со мной, падали убитыми или ранеными, а я оставался невредимым. Как-то мы вдвоем с Дмитрием Трофимовичем возвращались на санях из батальона, и буквально после того как мы оттуда выехали, этот батальон был окружен немцами. Но, видимо, такое везение было у каждого фронтовика, которому посчастливилось вернуться живым.

Дважды наша дивизия освобождала и снова сдавала противнику подмосковный город Венёв. После того как накануне вечером наша часть ворвалась в Венёв, я утром был там, мне рассказали жители этого городка, что фашисты собрали в церковь наших раненых солдат и офицеров и хотели взорвать эту церковь с пленными людьми, но не успели и им самим пришлось бежать.

Я вошел в церковь. На полу лежали много наших воинов. Вдруг я услышал, что из дальнего угла кто-то зовет меня: «Товарищ Маневич, товарищ Маневич!» Я подошел в тот угол церкви и узнал политрука роты Попова. Я приказал перенести его в медсанбат. Туда же вслед за ним перенесли и всех остальных раненых.

На этом боевой путь Попова окончился. Он вернулся в Москву, стал работать в ЦК партии, был главным редактором журнала «Агитатор и пропагандист», а потом он был и начальником Совинформбюро. Но со мной он встречался очень неохотно, даже не дружески. Я долго не мог понять, почему Попов избегает встреч со мной. Потом догадался. Все было очень просто, он боялся, как бы я не рассказал (донес), что я видел его в плену у противника. Стоило бы чекистам об этом узнать, и окончилась бы так хорошо сложившаяся карьера работника ЦК партии. Вместо такого элитного положения можно было загреметь прямо в Гулаг. Вот и вся причина. Конечно, у меня и мысли не было рассказывать кому-либо о той встрече в веневской церкви.

После непрерывных и тяжелых боев наша обескровленная дивизия была выведена на доформирование. В те дни я

попросил Шепилова отпустить меня на несколько дней в Уфу, где жила в эвакуации моя мама в семье сестры, а в 50–60 километрах от Уфы в селе Дюртили жила моя семья — Лидия Осиповна и сыновья Лев и Виталий. Наконец, Шепилов разрешил мне поехать на несколько дней. Я, счастливый, распрощался с друзьями, собрался, сел в сани и... в этот момент прибежал связной Алеша и сказал, что Дмитрий Трофимович отменил свое решение о моей поездке. Когда я спросил у него, в чем причина, что случилось, он сослался на приказ комиссара дивизии, которым в это время был полковой комиссар Павлов. Я к нему. Павлов с удивлением мне ответил, что его о моей поездке никто не спрашивал, и это дело только моего непосредственного начальника — Шепилова. Я остался. Это был тяжелый и неожиданный удар. Мне трудно было прийти в себя. Я ушел в лес и разрядил свой наган, выстрелив в знак протеста в небо. Стало немного легче. Через несколько недель Шепилов отпустил меня. Но я опоздал. За эти дни умерла моя мама, а если бы он не вернул меня с дороги, я бы успел увидеть ее, поговорить с ней. В одежде, в которой она умерла, сестра нашла во вшитом кармане мою фотографию.

Наступило лето. Дивизия стояла в резерве. У меня вдруг заболел глаз. Боль была невыносимой. Глаз ничего не видел. Врачи нашего медсанбата ничем мне помочь не могли и отправили в армейский госпиталь, где я пролежал несколько дней. Главный врач решил эвакуировать меня в тыл. Узнав об этом, ко мне приехали из дивизии несколько боевых друзей: С.М. Абалин, М.И. Новиков, Я.А. Кронрод, кто-то еще... и попрощались. Самолет прилетел в Калугу. Там поставили диагноз—иридоциклит — и на завтра отправили в глазной госпиталь, который находился в Москве на улице Горького.

В каждом госпитале, начиная от нашего армейского, у меня требовали, чтобы я сдал свой револьвер. Везде я его удачно прятал. Здесь, в Москве, я спрятать не смог. Я попросил комиссара сохранить мой наган, до тех пор, пока я поправлюсь, сдавать свое оружие я ни за что не хотел. Я пообещал за эту услугу помочь ему в его политработе. Так и договорились.

Но потом, когда я вышел из госпиталя, попал в резерв Главпура и первый раз пошел в кино, что на Арбатской площади, я в тесноте возле кассы почувствовал, что кто-то отстегнул и вынул мой наган. Я закричал страшным голосом: «Мой наган! Не смейт!» Человек, укравший его, испугался этого крика. Я услышал, как револьвер упал к моим ногам. Так он со мной прошел всю войну. Я сдал его с большим сожалением после победы, в день своей демобилизации.

В резерве Политуправления я находился два месяца. Резерв располагался на Садовой улице. В здании Военно-политической академии имени Толмачева. Нас, резервистов старшего состава, посылали разгружать вагоны, выступать с докладами на предприятиях и в учреждениях столицы. Меня, как и многих других политработников и комиссаров, редко вызывали в Главпур, а когда вызывали, требовали вновь и вновь заполнять анкеты, расспрашивали о довоенной и военной работе и говорили: «Ждите». Я просил направить меня в мою дивизию, но они посылали только в другие части и соединения. А наша дивизия в это время воевала под Сталинградом. Я ждал, ходил к знакомым, выступал с докладами, отвечал на многочисленные вопросы своих слушателей-москвичей.

Однажды я решил попросить начальника резерва отпустить меня в Уфу и Дюртели. На моем заявлении появилась резолюция: «Отпустить на 7 дней». Когда я пришел за чемоданом, мне мои сотоварищи по комнате (в этой большой аудитории жили не менее 15 человек) сообщили, что сегодня меня искали и требовали немедленно позвонить в Главпур. Назначение состоялось. Я тут же обратился ко всем присутствующим в комнате: «У меня есть разрешение на поездку и билет на поезд. Я надеюсь, что среди вас не найдется подлец, который скажет, что я знал о вызове в Главпур. До свидания!» Все ответили: «До свидания!» И, действительно, никто на меня не донес. Когда я вернулся, меня ждало назначение на должность начальника отделения информации Сталинградского фронта.

Но я на эту высокую и далекую от фронта должность так и не поехал. Не поехал потому, что в это время в Москву приехал Д.Т. Шепилов. Он приехал по вызову Главпура. Его назначили на должность начальника политотдела 24 армии, которая воевала в Сталинграде. Дмитрий Трофимович предложил мне отказаться от моей новой должности и поехать с ним: «Мы с тобой вместе начинали воевать, вместе и закончим». Я согласился. Шепилов договорился с кадровиком ПУРа Месроповым, и мое назначение было переоформлено.

В середине ноября я поехал в Сталинград в 24 армию, в составе которой находилась наша родная 173 стрелковая дивизия. Я заехал прежде всего в дивизию. Здесь в последний раз я встретился с Иваном Ивановичем Новиковым и другими однополчанами, работниками политотдела Меденниковым, Левко, Грином, редакцией газеты «Боевое знамя» — Кронродом, Аргинским, Макаровским, Березко и с другими друзьями.

Наша 173 стрелковая дивизия успешно закончила бои под Сталинградом и стала одной из первых гвардейской дивизией. Она затем участвовала во многих сражениях на Украине, в Польше и закончила войну на Эльбе, где встретилась с 9 американской армией. Дивизия стала именоваться «77-я гвардейская, Черниговская, ордена Ленина, ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени стрелковая дивизия».

В 24 (4 ГВАРДЕЙСКОЙ) АРМИИ

Мы с Д.Т. Шепиловым прибыли на службу в политотдел 24 армии. Он — начальником политотдела, а я — старшим инструктором по политической информации. Мы прибыли накануне завершения последнего этапа Сталинградской битвы — ликвидации окруженной группировки немецких войск.

Об этом окружении написано очень много. О нем написал и я в первой своей фронтовой брошюре, изданной в 1943

году. Она называется «Политическое обеспечение ликвидации окруженных войск под Сталинградом», а также в книге, которая написана совместно с моим помощником и другом капитаном Игорем Бенедиктовым. Эта хорошо иллюстрированная фронтовым художником Резницким и фотографом Гальпериным книга написана и издана в Вене сразу после окончания войны. Она называется «От Сталинграда до Вены». Книга сохранилась в библиотеках и у тех, кто закончил войну в составе 4 гвардейской армии. Эту книгу упоминает в предисловии к своим воспоминаниям маршал Советского Союза Василевский. Все это дает мне право в настоящих заметках не касаться боевого пути армии, о нем подробно сказано в упомянутой книге и многочисленных монографиях, исследованиях и воспоминаниях полководцев, писателей, журналистов. Я ограничусь здесь некоторыми фактами и событиями, свидетелем которых я был.

Под Сталинградом мы с Дмитрием Трофимовичем первое время поселились в небольшой сохранившейся избе. Когда к нему приходили люди, с которыми он тогда знакомился, я старался уйти из дома, чтобы не мешать. Помню, когда к Шепилову пришел недавно выпущенный из Гулага генерал Горбатов, я до его прихода улелся на печке. Горбатов свое первое назначение после лагеря выполнял у нас, он был заместителем командующего 24 армии. После Сталинграда Горбатов командовал 3-й Особой армией, отличился, заслужил много наград и опубликовал честную книгу о своей жизни в Гулаге и после него.

В ту зиму под Сталинградом было не только очень холодно, но и голодно. В нашей командирской столовке кормили скверно — давали жидкую пшеничную кашу. Я сказал об этом Шепилову, и он позвал меня в столовую военного совета. Там кормили вкусно и обильно. Но ходить туда я больше не стал, было неудобно, я чувствовал себя там чужим, самозванцем.

10 января 1943 года рано утром по фронту началась наша мощная артиллерийская канонада, она длилась, как

никогда до этого, долго. Войска Советской армии, в том числе и наша 24 армия, перешли в решительное наступление.

Возникла опасность, что идущая на помощь окруженным войскам противника армия генерала Манштейна попытается выручить своих из котла. Но и эти активные и настойчивые атаки тоже были успешно отбиты. Советские войска добились полной и окончательной победы над всей сталинградской группировкой противника. Немцы на этом важнейшем участке фронта капитулировали.

На сталинградском фронте стало вдруг совсем тихо. Потянулись многочисленные отряды сдавшихся в плен немцев. Эти солдаты и офицеры, как правило, доходили до сборных пунктов, откуда их отправляли в лагеря для военнопленных, и они, в конце концов, возвращались в Германию. Трагичнее складывалась судьба некоторых пленных, которые составляли небольшие колонны. В политдонесениях, поступавших ко мне из политотделов дивизий и отдельных частей, сообщалось, что по дороге бывали случаи, когда по пленным открывали огонь из автоматов. Политотделы осуждали эти самовольные казни и делали все, что могли, для их пресечения.

Сталинградская битва завершилась. В разрушенном дотла городе проходили митинги победы. Часть войск еще оставалась здесь. Но многие дивизии и армии перебрасывались на другие участки огромного фронта, а некоторые — на отдых и переформирование. В числе последних была и 24 армия, переименованная в 4-ю гвардейскую. Штаб, политотдел и все другие службы вместе с обескровленными дивизиями погрузились в товарные вагоны. Эшелоны двинулись в путь к только что освобожденному и совершенно разрушенному Воронежу. Эшелоны шли медленно. На продолжительных остановках мы с Дмитрием Трофимовичем выходили из вагона, вспоминали минувшее, говорили о том, что нас ждет впереди.

Дмитрий Трофимович переживал: кончилась такая эпопея под Сталинградом, а он не получил никакой награды, как

и после московской битвы, а ведь там наша дивизия первая перешла в наступление и освободила много городов, сел и деревень. Неужели и сейчас он не будет награжден! Я, как мог, успокаивал его. Я на самом деле был уверен, что он будет награжден боевым орденом Красного знамени. Что касается меня, то эта проблема меня не волновала ни тогда под Сталинградом, ни в течение всей войны. Хотя, с другой стороны, когда я получил после Сталинграда свой первый орден Красной звезды, а потом еще три ордена Отечественной войны и медали, я был, конечно, доволен. Правда, счастлив был потому, что еще жив и только перенес небольшую контузию (оглох, но ненадолго). Действительно, когда мы только расположились под Воронежем, пришло сообщение о награждениях. Шепилов получил столь желанный им орден Красного знамени.

Армия начала переформирование. Был сменен командующий: вместо генерал-лейтенанта Ивана Васильевича Галанина, спокойного, уравновешенного и уважаемого в штабе и в войсках, к нам был назначен бывший маршал, разжалованный Сталиным в генерал-лейтенанты, Кулик. Нам скоро стало известно, что новый командующий слишком заботится о своих удобствах: для него при штабе содержалась корова, ему построили персональную баню. С Куликом прибыла молодая ядреная ППЖ.

Кулик приказал построить весь личный состав штаба, политотдела, разведотдела, связистов и офицеров других подразделений. Каждый должен был представиться командующему. Когда дошла моя очередь, стоявший рядом с Куликом Шепилов сказал ему, что этот капитан кандидат наук. Кулик остался недоволен выправкой многих командиров и политработников, моей тоже. Всем было приказано пройти общевойсковую, главным образом строевую, подготовку.

Армия пополнилась новыми людьми. К нам прибывали со всей страны как молодые, так и обстрелянные бойцы из госпиталей, командиры, политработники из училищ и военных академий. Пользуясь своими прежними связями, быв-

ший маршал сумел хорошо вооружить войска: армия получила большое количество грузовиков, новые орудия, много новых минометов, пулеметов, автоматов. В некоторых дивизиях впервые были созданы роты автоматчиков.

Об итогах переформирования армии я узнал из «первоисточника». Незадолго до того, как наша 4 гвардейская армия вступила в бой под Курском, военный совет Степного фронта приказал командующему и члену военного совета подготовить подробный и обстоятельный доклад о готовности армии. Военный совет поручил мне в течение одного дня написать этот доклад. Всем подразделениям штаба было приказано предоставить мне все материалы. В тот день ко мне в маленькую комнатенку, в которой я жил, пришли член военного совета генерал Гаврилов и Шепилов. Оба они говорили мне об этом ответственном задании. Я приступил к работе. Ознакомился со всеми отчетами и справками. Не успел начать писать доклад, ко мне опять пришли эти начальники узнать, как у меня идет работа. Гаврилов, уже уходя от меня, вдруг угрожающе сказал: «Если вы не закончите доклад к концу дня, то я, то мы... больше не дадим такое ответственное задание...».

Эта страшная угроза меня не испугала. Доклад я подготовил вовремя. Кулик успешно отчитался. 4 гвардейская армия была признана готовой к новым боям.

Еще несколько слов о нашем командующем. Кулика очень боялись все. Лучше всего было не попадаться ему на глаза. Поэтому нередко было так, когда Кулик подходил к палаткам, по сигналу дежурного о том, что он приближается, офицеры разрезали палатку и выскакивали из нее. Но к тому офицеру, которого он заставал, Кулик обычно придирался и избивал своей плеткой. С ней он никогда не расставался. О рукоприкладстве бывшего маршала, любимца Сталина, знала вся армия. Однажды командир батальона, отважный старший лейтенант, неоднократно отличавшийся в боях, ехал на полutorке. Он спешил в свой батальон и не обратил внимания на то, что его пытается обогнать следовавший за ним вилиц. Офицер не знал, что в легковой машине сидит

Кулик. В деревне, когда машина догнала полуторку, командующий выволоч из кабины старшего лейтенанта, избил его на глазах у жителей деревни, сорвал с него погоны и приказал отправить в штрафную роту.

Об этом факте, как и о других подобных, я прочел в политдонесениях. Тогда у меня возникла идея подготовить приказ по армии о недопустимости рукоприкладства в Советской армии. Этой идеей я поделился с Шепиловым. Он сразу со мной согласился. Я написал проект приказа по армии, в котором привел несколько примеров избиения подчиненных, осудив их как чуждые духу и традициям Советской армии. В этом приказе виновные подвергались строгим наказаниям. Подписать приказ должны были командующий 4 гвардейской армии генерал-лейтенант Кулик, член военного совета генерал-майор Гаврилов, начальник штаба генерал-майор Верховович, начальник политотдела полковой комиссар Шепилов.

Шепилов, Гаврилов и Верховович сразу подписали этот приказ и пошли его подписывать к командующему. Тот, как мне потом рассказал Дмитрий Трофимович, «долго читал, сопел, вздыхал» и подписал... С тех пор о подобных безобразных случаях в частях и подразделениях нашей армии мы больше не слышали.

В начале июля 1943 года началась знаменитая курско-белгородская битва. Это было одно из кровопролитных и решающих сражений Второй мировой войны. Немцы, надеясь добиться перелома в войне, бросили против нас огромное количество танков, в том числе много новых могучих «тигров». Наша армия понесла очень большие потери. К нам приехал маршал Жуков. Он всю вину за потери возложил на Кулика. В присутствии многих командиров Жуков кричал на Кулика, как на мальчишку: «Эх, ты, маршал, проср...а такую армию, такую армию!» Жуков тут же отстранил Кулика от командования. Кулика мы больше не видели, его перевели на другой участок фронта, а потом, через несколько лет, по приказу Сталина расстреляли.

После боев под Курском наша армия быстро восстановила свои силы и вступила в новые сражения: участвовала в форсировании Днепра, освобождении Украины и Молдавии, а также в освобождении от фашистов Румынии и Австрии, сыграла активную роль во взятии Будапешта и Вены.

Обо всех этих сражениях написано много книг, исследований, воспоминаний. Поэтому я о них здесь не буду писать, тем более, что, как я уже рассказывал о том, как воевала наша 4 гвардейская армия, подробно говорится в книгах: «От Сталинграда до Вены» и «От Волжских степей до Альп». На этих страницах моих воспоминаний я хочу рассказать о некоторых эпизодах, о которых я до сих пор говорил лишь своим близким друзьям и родным.

Первое, что удивило меня, как и других солдат и офицеров на Курской земле, а потом на Украине и в Молдавии, это поля и огороды: везде колосились посевы, было много овощей и фруктов. Я думал, что под игом оккупантов все захиреет, фашисты все отнимут у крестьян, разгонят колхозы. Оказалось, что и оккупантам с колхозами было проще и сподручнее, чем с индивидуальными крестьянами. Начиная с Курской области и до самого окончания войны, вся наша многотысячная армия снабжалась, и при этом очень хорошо. Мы тогда были, как говорили, «на бабушкином аттестате». Почти в каждом доме нас кормили сытно и вкусно. Особенно нас поразило изобилие в селах Молдавии. Здесь в каждом доме было вдоволь вкусного вина, кур, мяса, яиц. Тогда весь фронт, участвовавший в Яско-Кишиневской операции, был настолько пьян, что пришлось задержать наступление наших войск.

Всюду нас встречали хорошо. Большинство людей, как мне тогда казалось, было довольно нашим возвращением и тем, что мы изгоняем ненавистного врага с Советской земли. В домах украинских деревень мы видели немало молодых, здоровых мужчин — украинцев. Немцы отпускали их по первой просьбе украинок, если те говорили, что это их мужья, братья или сыновья. Их было так много, что все

пополнение армии шло главным образом за счет мобилизации населения освобожденных районов. К слову сказать, они охотно шли в Советскую армию.

Во всех городах и поселках перед нашим приходом были убиты поголовно все евреи. Везде я слышал одни и те же слова: «Евреев всех убили. Но за что же убили детей?» Или: «Но детей за что?» Можно было подумать, что взрослых евреев убили за дело, а вот детей за что?

Я точно не помню, где это было, кажется, где-то под Харьковом. Я пришел на вокзал, разговорился с молодой, красивой женщиной. Она рассказала, как в их маленьком городке вели на расстрел всех евреев. Вели немцы и украинцы. Один из полицаев шел близко. Она его хорошо знала, он когда-то учился в одном классе с ней и ухаживал за ней. Женщина обратилась к нему: «Коля, неужели ты будешь меня убивать?» Он громко и злобно ответил: «Иди, иди, жидовская морда!» Потом был расстрел. Она упала в яму, на нее падали трупы расстрелянных. Ночью, когда убийцы ушли, она выбралась из кровавой ямы. Ей удалось спрятаться у друзей-украинцев и дожидаться Советской армии.

Тогда, когда она рассказывала, я думал, как и она, что Коля просто промахнулся и она случайно осталась в живых. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я, все же, думаю (вернее, хочу думать), что Коля нарочно кричал: «Иди, иди жидовская морда!» — чтобы не подумали, что он жалеет еврейку, и что он не стрелял в свою подружку.

Примерно тогда же я встретил пожилого еврея, который тоже остался жив. Перед расстрелом он сказал немецкому офицеру: «Стреляй, стреляй, но запомни, мои сыновья сейчас в Красной армии. Они придут в Германию и убьют твоих родителей». Немец на минуту задумался и потом неожиданно тихо сказал: «Иди, иди...». Еврей пошел к лесу, который был совсем близко. Так и ушел.

И еще вспоминаю отважного сержанта Островского, который мне рассказал о себе и о своих родных. Наши койки стояли рядом в одном из армейских госпиталей. Он

по ночам громко кричал во сне. Островский мне объяснил, почему он попал в госпиталь, хотя не был ранен. Он отличился в боях своей исключительной смелостью, часто ходил в разведку, приводил «языков», помогал своим раненым. Его любили солдаты и командиры. Когда было освобождено от немцев его местечко на Украине, ему дали отпуск. По дороге к своему дому он встретил соседа-украинца, который рассказал ему, кто из местечковых жителей участвовал в расстреле его родных, и что в их доме сейчас живут убийцы его отца, матери, жены и детей. Он мне подробно рассказал, как беспощадно расправился со всеми убийцами. Об этом же все рассказал, когда вернулся в свою роту. Самосуд ему простили, но потрясение было столь велико, что он заболел и попал в госпиталь. Вскоре он снова пошел воевать. Больше я его не встречал и ничего о нем не слышал.

Однажды, это было в 1943 году, ко мне пришел взволнованный Шепилов. Он рассказал, что к нам в политотдел приехала бригада политработников из политуправления 3-го Украинского фронта, в состав которого мы тогда входили. Бригада потребовала пересмотреть кадры работников во всех соединениях, а также в редакциях армейской и дивизионных газет... И «передвинуть евреев-политработников в стрелковые роты и батальоны». «Как же так, — с недоумением рассуждал Дмитрий Трофимович, — ведь сам же тоже нерусский. Тут что-то не так...».

Правда, перед этим, рассказывал мне Шепилов, был странный случай: начальник политуправления Сталинградского фронта Галаджев долго не хотел утверждать на должность комиссара штаба армии кадрового политработника Балмагия. Когда Шепилов спросил, почему его не утверждают, Галаджев ему ответил, потому что он еврей. Дмитрий Трофимович решил, что Галаджев просто антисемит, и что он нарушает ленинско-сталинскую национальную политику, а сейчас он не поверил бригаде. Поэтому, перед моей командировкой в Москву, он поручил мне зайти к его близкому другу Борису Николаевичу Пономареву, с которым раньше

работал в Коминтерне, а сейчас он был директором Института Маркса—Энгельса—Ленина, а также к его хорошему знакомому Леониду Федоровичу Ильичеву, главному редактору газеты «Известия»: «Ты зайди к ним и расскажи, что сказала мне бригада, и о том, что я их за это выгнал».

Сначала я пришел в ИМЭЛ к Пономареву. Он меня хорошо встретил, расспросил о жизни в армии, о фронтовых делах и о своем друге. Я рассказал ему о поручении Дмитрия Трофимовича. На это Пономарев сказал: «Передайте Дмитрию Трофимовичу, что он поступил неправильно, прогнав политработников. Вот в Армении, Таджикистане или Киргизии во главе республики и в аппарате работают в Армении — армяне, в Таджикистане — таджики, в Киргизии — киргизы. Почему же у нас в России должны работать евреи, а не русские? То же самое относится и к армии — командиры и политработники на руководящих постах и в идеологии должны работать русские!»

Потом я пошел в редакцию «Известия». Главный редактор Л.Ф. Ильичев, когда ему доложили, что пришел фронтовик, сразу меня принял, и на вопрос Дмитрия Трофимовича ответил еще более решительно: «Передайте товарищу Шепилову и поймите вы сами, капитан, что недопустимо держать на ответственных постах евреев. Ведь это использует против нас фашистская пропаганда. Немцы и так забрасывают армию и тыл листовками о засилье евреев, не надо давать им такой повод». Из этих бесед я понял, что это твердая установка самого Сталина.

Вернувшись из командировки, решил, что рассказывать Шепилову о своих беседах с Пономаревым и Ильичевым буду, если он спросит о них, но он не спросил. Видимо, эта информация ему уже была не нужна, установка дошла без меня.

Что касается самого Шепилова, то мне казалось и тогда, и позже, что он не заражен антисемитизмом. Правда, потом, когда Шепилов стал начальником отдела пропаганды ЦК КПСС, а позднее главным редактором «Правды», он строго

придерживался генеральной линии партии в борьбе с космополитизмом и в освещении «дела врачей». И все же в антисемитизме упрекать Дмитрия Трофимовича я не могу.

Одно поручение своего начальника я не выполнил и уговорил его отказаться от этой идеи. Дело было так, прочитав в газетах о том, что М.М. Литвинов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла СССР в США и что вместо него назначается А.А. Громыко, взволнованный Дмитрий Трофимович прибежал в избу, в которой я находился, и сказал: «Произошла большая ошибка, большая ошибка. Ты представляешь, нашего недотепу Громыко назначили вместо Литвинова! Надо немедленно написать Сталину. Эту ошибку необходимо исправить!»

Громыко работал в нашем институте. Мы его знали как очень слабого, малообразованного кандидата наук, едва защитившего диссертацию по какой-то незначительной аграрной проблеме. Работал он секретарем редакции журнала «Проблемы экономики», научным сотрудником он никогда не был. Конечно, представить Громыко на посту посла, на котором только что находился Литвинов, было очень трудно. Но я решительно был против того, чтобы писать об этом Сталину. Я убедил Шепилова в том, что Громыко назначен не случайно, видимо, такие работники, как он, сейчас нужны. Кроме того, наш Андрей Андреевич за эти два года, что ушел от нас в МИД, чему-то научился. Письмо Сталину мы не стали писать.

Там, на Украине, в политотдел пришел приказ Шепилову откомандировать меня в распоряжение начальника Политуправления фронта генерал-лейтенанта Тевченкова. Дмитрий Трофимович пригласил меня к себе. Стол был накрыт белой скатертью и прекрасно сервирован, стояла бутылка водки, и было много всяких вкусных закусок. Мы сидели вдвоем. Шепилов сказал: «Мы с тобой прошли вместе большую часть войны. Всегда были вместе и в дивизии, и здесь, в армии. А сейчас тебя хотят выдвинуть на работу в Политуправление фронта. Сделай что-нибудь такое, чтобы тебя оставили

здесь». Мы хорошо выпили, хорошо поговорили, и я сказал: «Я тоже не хочу уходить и разлучаться ни с вами, ни с армией. Но я не знаю, как мне отказаться от этого выдвижения. Вам, наверное, легче договориться с начальником Политуправления». — «Нет, — ответил он, — я ничего не могу, а ты скажи, что ты болен». — «Как же я могу сказать, что болен для работы в Политуправлении и здоров для службы в армии, никто не поверит». — «Верно, — согласился он, — но все же подумай, подумай...».

Я отправился в оперативную группу штаба фронта, которая находилась в районе Пятихатки.

Был зимний вечер, когда я прибыл в ту деревню. В избе было несколько человек — три не то четыре полковника из орготдела Политуправления, подполковник, приехавший в командировку из Главпура. Там же были и мои будущие подчиненные, шесть—семь человек отделения политинформации. Они меня встретили очень тепло, сказали, что рады работать под моим руководством. Разговорились. Я спросил, где их начальник, на что они ответили, что его на днях Тевченков снял с работы, разжаловал и послал политруком в роту. А наказал он его за то, что на вопрос генерала о сводке информбюро тот ответил, что в его обязанности не входит следить за этой сводкой. На мой вопрос о судьбе предыдущего начальника отделения мне рассказали, что и его Тевченков снял с работы, разжаловал и отправил в роту за то, что в его комнате политработники политуправления играли в домино.

Мне от этих рассказов о моих предшественниках стало совсем грустно. Наступила ночь, когда широко раскрылась дверь и в избу вошел высокий, здоровый и веселый генерал-лейтенант Тевченков. Все встали. Поздоровавшись, Тевченков меня гостеприимно приветствовал и сказал: «Хорошо, что вы приехали, отныне будете работать у нас!»

А потом началась беседа. Генерал был в ударе. Рассказывал о своих впечатлениях от поездки в дивизию. Он почти после каждой своей фразы спрашивал: «Правильно я говорю?» И ему все хором дружно отвечали: «Так точно, товарищ

генерал». — «Вот, — продолжал он свой рассказ, — был я в деревне, — назвал ее. — Там мне сказали, что за время немецкой оккупации наши украинские женщины родили много немцев. Но ведь они в этом не виноваты. Правильно я говорю?» Все закричали в ответ: «Так точно, товарищ генерал!»

Все, кроме меня. Я поднялся и сказал: «Неправильно вы говорите, товарищ генерал!» Это было первое и единственное возражение на протяжении беседы, которая длилась уже не меньше часа. «Как, как вы сказали, товарищ майор?» — «Я сказал, что этим женщинам, отдававшим свое тело врагу, нет оправдания». — «Так, так... майор, возражаете мне, генерал-лейтенанту? А если хотите знать, так в том, что они отдавались немцам, виноваты не они, а мы с вами».

Я стоял и думал, что генерал, вероятно, прав. И действительно, мы виноваты перед советским народом и перед нашими женщинами, потому что впустили фашистские полчища на нашу землю. Но все-таки я решил спросить: «А в чем мы виноваты?» Генерал тут же дал совершенно неожиданный для меня ответ: «В том, что мы долгие годы прививали нашему народу чувство ин-тер-на-ци-о-на-лиз-ма! Правильно я говорю?» Все закричали: «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» Эту фразу начальника Политуправления фронта я ощутил как страшный удар хлыстом по лицу, как личное и тяжелое оскорбление, я тут же возразил: «Мы, товарищ генерал-лейтенант, воспитывали и будем воспитывать наш народ в чувстве интернационализма!»

Стало тихо. Генерал встал со своего стула. Прошелся по избе, подошел ко мне и спросил: «Вы, товарищ майор, меня уважаете?» — «Да, уважаю». — «Ха-ха-ха — вы себя высекли как унтер-офицерская вдова. Вы сказали, что уважаете меня, вместе с тем возражаете мне, генерал-лейтенанту. Начальнику Политуправления фронта! Правильно я говорю?» И опять дружное: «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» В этот момент я подумал, что еще одно мое возражение, и я буду отпущен назад в армию, и улыбнулся. Он заметил мою улыбку и стал кричать на меня: «Вы еще и улыбаетесь!» Потом,

пройдясь по избе, генерал спросил меня: «Зачем это вы и ваш политотдел вздумали прославлять какую-то подпольную молодежную организацию? Зачем это надо? Страна знает «Молодую гвардию». Вот и хватит, и не надо искать и прославлять какие-то новые!» И я опять возразил: «Товарищ генерал-лейтенант, мы так воспитывали наш народ, нашу молодежь, что я уверен, мы еще встретим много других подпольных организаций, которые вели борьбу с фашистами».

Это было мое последнее возражение. Он кричал, что как это я, какой-то майор, возражаю ему, начальнику Политуправления. Можно ли было себе представить, чтобы он, Тевченков, на приеме у своего начальника Главпура товарища Щербакова ему бы возражал! И опять на его вопрос был тот же ответ: «Так точно...». После этого генерал ушел. Я оглянувшись, оказалось, что во время нашей беседы с генералом сидевшие рядом со мной мои будущие подчиненные постепенно от меня ушли. Я остался сидеть один в углу под иконами. Я спросил у приехавшего из Москвы подполковника: «Они все кричали «так точно, генерал», и их можно понять, они его подчиненные, но почему же вы, работник Главпура, кричали вместе с ними? Разве вы не согласны со мной?» Подполковник ответил, что он со мной согласен, но что ему в Главпуре сказали, что генералу Тевченкову ничего нельзя возражать.

Была ночь. Со мной никто больше не заговаривал. Я с чувством выполненного долга лег спать. Утром в избу опять пришел генерал. Его сопровождали полковники: начальники отделов пропаганды, кадров, разложения войск противника и других. Генерал был спокоен. Он спросил: «Где демократ из четвертой гвардейской? А, вы тут?» — «Товарищ генерал-лейтенант, — обратился я к нему, — я могу быть свободен и возвратиться к себе?» — «Да, вы свободны, можете возвращаться».

Через год после войны в Москве я встретил бывшего начальника отдела Политуправления фронта по разложению войск противника полковника Зусмановича. Он рассказал мне, что Тевченков в то утро после нашей беседы рас-

сказал ему ее содержание, Зусманович сказал генералу, что прав Маневич. Видимо, поэтому наше расставание оказалось вполне мирным.

Я вернулся. Дмитрий Трофимович был доволен. И я, конечно, тоже. Так закончилось это мое выдвижение.

Фронт приближался к нашим границам. Было радостно на душе: вот-вот мы полностью освободим нашу землю, наших людей от немецких оккупантов, и, может быть, скоро наступит долгожданный мир. Но прошли мы границу и не увидели никаких особых перемен: такая же природа встретила нас в этот мартовский день 1944 года по ту сторону границы. Ничего не изменилось в нашей жизни, продолжались ожесточенные бои, опять погибали молодые солдаты и офицеры, переполнялись полевые госпитали. Потом, когда мы занимали (освобождали) деревни, поселки и города «угнетенных народов», мы с удивлением узнавали, что не так уж плохо жили эти люди «под пятой жестокой эксплуатации капиталистов». Неожиданным было для наших воинов, что здесь крестьяне живут лучше наших колхозников. Их деревни, даже самые бедные, несравненно более благоустроены, женщины и дети намного лучше одеты, чем наши, а в домах мы видели еще больше изобилия, чем даже в Молдавии.

Первая западная столица, в которую мы вошли, был Бухарест. В этом красивом городе мы встретили многих довольных и веселых людей. Наши фронтовые подруги — врачи, сестры, связистки, санинструкторы, машинистки штабов были поражены невиданным выбором лежавшего на прилавках магазинов разнообразного красивого белья, платьев и всякой красивой одежды и обуви.

После Румынии путь нашей армии вел к Венгрии и Австрии. Чем дальше мы продвигались на Запад, тем больше встречали богатых, довольных своей жизнью людей. Об этом солдаты и офицеры писали в своих письмах родным. Военная цензура старалась вымарать черной тушью эти восторженные сообщения об увиденном изобилии и красивой жизни в капиталистических государствах. Я в политотделе

получал информацию В.Ц. (военной цензуры) и СМЕРША об этих многочисленных письмах. В них с указанием фамилий отправителей приводились цитаты из этих писем. Нам, политработникам, надо было «рассеять неправильные представления о жизни в капиталистических странах». Однако выполнять такие указания стало очень трудно, солдаты и офицеры сами, своими глазами все видели, сравнивали, думали, говорили и писали, писали в свои далекие деревни, города, где по-прежнему было голодно, холодно и невыносимо жить и ждать...

К этому времени относится официальное сообщение, полученное политотделом армии из Политуправления фронта, которое, в свою очередь, было получено из Главпура. В нем говорилось, что в ближайшее время всем солдатам и офицерам Советской армии будет разрешено отправлять родным посылки. Офицеры могут послать больше, рядовые меньше, указывалось, сколько таких посылок можно ежемесячно посылать.

Получив это предупреждение, я сразу пошел к Шепилову. Выложил ему все аргументы против этой затеи. У меня не было сомнений в том, что эта идея принадлежит самому Верховному главнокомандующему... Как помню, в составленном мною политдонесении я писал, что, конечно, следует организовать помощь нашим измученным людям в тылу, особенно, и в первую очередь, тем семьям, которые потеряли своих близких на фронтах, а также семьям инвалидов и участников войны. Но надо это делать организованно и продумано. Если же будет разрешено всем солдатам и офицерам собирать и отсылать посылки, то, во-первых, начнется массовый грабеж населения. Во-вторых, солдаты станут менее мобильны — они будут таскать не только ружье (автомат или пулемет), но и собранные вещи. В-третьих, офицеры и генералы используют своих подчиненных для обогащения. Все это неизбежно приведет к моральному разложению армии. Были еще какие-то аргументы против этого предложения, я их уже не все помню. Политдонесение Шепилов подписал,

и мы его отправили. Но через некоторое время к нам пришел официальный приказ, кажется, за подписью Сталина, о праве солдат и офицеров отправлять посылки.

Этим правом воспользовались все, но особенно старшие и высшие офицеры и генералы. Генералы отсылали домой огромные грузовые машины с награбленным богатством. Уверен, что это совсем не прибавило нашим воинам уважения со стороны населения оккупированных государств. Если учесть многочисленные факты насилия в Венгрии, Австрии, Чехословакии и Германии, то можно себе представить, как «полюбили» нас, «освободителей».

Тем временем наша армия вошла в Венгрию. Здесь развернулись неслыханно тяжелые бои за Будапешт, Секерше-хервар и озеро Балатон.

Ни в одной из стран, в которых мне довелось бывать до вступления наших войск в Венгрию и после этого, я не чувствовал такого глубокого стыда за наши войска и советскую страну, как в Венгрии. В какой-то мере причину этого отношения я, кажется, понял в городке Лаваш-Берень, вблизи Будапешта. Мы вошли в этот городок поздно вечером. Я попал на постой в домик старого венгра. Он жил вместе с внучкой, красивой девушкой, приехавшей из Будапешта и застрявшей здесь. Венгр хорошо говорил по-немецки, и мы за бутылкой вина проговорили всю ночь, пока за мной не прибежал связной политотдела Леша, и мы уехали дальше к Будапешту.

Старик мне подробно рассказал, что было в Венгрии, когда победила Венгерская пролетарская революция. Он красочно рассказывал, что было 20 лет тому назад, когда под руководством коммуниста Бела Куна пролетарская власть беспощадно расстреливала ни в чем не повинных людей, и прежде всего интеллигенцию и других «классовых врагов». (Во время его рассказа я вспоминал радостные телеграммы и статьи, которые тогда писал Ленин по случаю этой огромной «победы», которая, по его мнению, приблизила мировую пролетарскую революцию.) Вот и сейчас, говорил старый

венгр, Венгрия, как огня, боится Советской армии, боится повторения ужасов прошлой революции. И, действительно, венгры воевали с нами с еще большим ожесточением, чем немцы.

Наши солдаты и офицеры, опьяненные боевыми успехами, на «законном основании» занимались грабежом, отнимали часы, забирали домашние вещи и все это запихивали в свои вещевые мешки, для того, чтобы отослать посылки домой. Многие насильовали или пытались насильовать женщин.

Как-то ночью меня разбудил сильный стук в окно одноэтажного дома на окраине города Секершехервара, в котором я жил. Я выглянул на улицу. Была светлая зимняя ночь. Небо освещала огромная луна. Под окном стояла женщина. Из-под накинутой куртки виднелась длинная белая ночная рубашка. «Помогите, господин майор, помогите нам», – говорила она по-немецки. Я быстро оделся и выбежал. На дворе стояла пожилая женщина. Она плача рассказала, что вечером к ним пришел русский офицер и сказал, что он будет у них ночевать. Сейчас он требует, чтобы с ним легла спать их дочь, и угрожает пистолетом. Я вошел в дом. Приказал зажечь свет. В большой комнате лежали на кроватях и лавках много людей. Возле одной из кроватей стояла чудной красоты молодая венгерка в ночной рубашке. Она вся дрожала. Рядом с ней стоял полуодетый офицер.

«Вы кто такой, и что вы тут делаете?» – грозно спросил я. «Я капитан из дивизии, приехал к вам, товарищ майор, на совещание, – завтра я должен был проводить это совещание. – Остался ночевать, а она на меня кричит».

Тут со мной заговорил старик отец. Он повторил все, что мне говорила женщина во дворе. Я приказал офицеру немедленно покинуть дом. Он торопливо оделся и тут же ушел. Старик и его семья, и особенно красавица-венгерка, меня благодарили за избавление, разговорились. Я узнал, что их фамилия Варга. Я им рассказал, что у нас в Москве, в Академии наук работает их соотечественник, крупный ученый-экономист академик Евгений Варга.

Через несколько дней противник вновь захватил город Секершехервар. Политотдельцы быстро погрузились и заняли свои места в грузовике, а я побежал прощаться с семьей Варги. Когда через неделю мы снова вернулись сюда, здесь уже не было ни того дома, ни той улицы, где этот дом стоял, все было сметено.

В январе—феврале 1945 г. немцы, оголив другие участки фронта, бросили под Будапешт огромные полчища своих войск, много больших, средних и малых танков. Танки приблизились к штабу армии. Нас окружали. Попытки отбить атаки оказывались малоуспешными. Уже были разгромлены несколько наших дивизий. До полного окружения оставалось не более 12—14 километров. Было досадно и обидно: пройдено так много, наши войска находятся под Берлином, война вот-вот окончится, а нам предстоит погибнуть в окружении. Выбраться из окружения здесь, на территории Венгрии, учитывая большую враждебность населения, казалось совершенно безнадежным.

Узнав в оперативном отделе штаба армии реальное положение дел, мы с моим помощником и другом Игорем Бенедиктовым пошли обедать в офицерскую столовую. Выпили бутылку вина. Сидели и смотрели, как ведут себя офицеры и политработники. Все встревожены, мечутся, все понимают, что приближается полное окружение, разгром, смерть. Игорь спросил меня: «Как будем стреляться, я думаю, что надо стрелять в рот?» — «Нет, — ответил я, — это некрасиво, я буду в висок».

Мой бывший помощник, а сейчас адъютант члена военного совета Сергей Рындич мне доверительно сообщил, что на армейском аэродроме стоят «уточка», а здесь, у штаба — заведенные автомашины, и как только кольцо замкнется, наше начальство — командующий армией генерал армии Захаров, начальник штаба генерал-майор Деревянко и члены военного совета генералы Шепилов и Семенов покинут армию и улетят. Мы с Игорем, приняв окончательное и твердое решение о самоубийстве, продолжали выпивать и закусывать.

Вдруг мы услышали, а вскоре увидели прибывшую танковую дивизию. Она, по приказу Верховного главнокомандующего, пришла нас выручать. И она спасла армию от реального, вполне подготовленного окружения. Правда, от всей той танковой дивизии после боя осталось едва несколько танков.

4 апреля 1945 года наша армия вошла в Австрию. Ах, какой это был прекрасный весенний день! Уже зазеленела трава, распустились деревья! Но самое главное было не в красавице Австрии, а в том, что заметно для всех приближалась победа, окончание войны, возвращение домой!

О прекрасной стране Австрии, о замечательной, ни с чем несравнимой ее столице Вене можно много писать. Но я не буду этого делать, потому что о ней написано много и хорошо другими людьми, талантливыми писателями, публицистами, журналистами. Я здесь расскажу только об одних сутках, в течение которых наша армия участвовала во взятии Вены.

Наш штаб армии и политотдел стояли тогда примерно в 30—40 километрах от Вены. Не помню, какое я тогда получил задание, но мне было приказано выехать в расположение полка, который к вечеру 12 апреля должен был находиться на одной из центральных улиц Вены. До штаба корпуса, который располагался на окраине Вены, я доехал с заместителем начальника политотдела армии полковником Леонидовичем Рубинштейном, незадолго до этого снятым с какого-то большого поста в Главпуре и присланного к нам.

Солдаты нашей армии, как и некоторых других, готовились к решительному наступлению на Вену.

Была вторая половина дня, когда я ушел из политотдела корпуса по направлению к центру Вены. На мне была моя неизменная плащ-палатка. Шел не торопясь, полк, в который я шел, должен был прибыть на указанную мне в штабе улицу только вечером. По дороге, возле одного из домов, я увидел большую толпу. В середине стояла худая, высокая, пожилая женщина и громко о чем-то кричала. Я подошел и

спросил, что здесь случилось. Женщина с возмущением рассказывала, что к ней ворвались советские солдаты и забрали ее радиоприемник. Я предложил зайти к ней в дом. Толпа разошлась. Мы разговорились. Я спросил, чем она занималась, кем работала. Она мне сказала, что она женщина бедная, а зарабатывала тем, что вылавливала прятавшихся евреев. Я спросил: «Сколько вы получали за каждого выданного гестапо еврея?» – «Очень мало – всего 200 марок», – спокойно ответила она. Выслушав жалобы этой женщины, я поспешил уйти из этого дома. (Конечно, некоторые мои однополчане, может быть, поступили бы иначе, расстреляли ее или передали бы «органам», но я рассказываю так, как было на самом деле. Мне было очень противно видеть ее, но ничего такого я не сделал.)

Вечерело. Солнце уже зашло, когда я дошел до центра. Навстречу попадались спешащие по домам австрийцы. Из окон раздавались выстрелы, доносилась сильная канонада. Я остановил спешащую пару. Спросил, где находится нужная мне улица. Мужчина не остановился, ушел. Со мной осталась не очень молодая, но красивая женщина. Она охотно отвечала на мои вопросы. Сама предложила пойти со мной на ту улицу, которую я назвал. Я узнал, что ее зовут Мария-Луиза. Когда мы туда пришли, то оказалось, что там нет ни одного солдата, полк еще не пришел. Между тем стало уже совсем темно. Я спросил Марию-Луизу, где она живет. Она ответила, что она, как и другие чиновники, прячется от советских солдат в подвале центрального сберегательного банка. Деваться мне было некуда. Я сказал, что пойду с ней. Мы подошли к большому, красивому, четырехэтажному зданию с большими массивными дверями.

Моя попутчица постучала, кто-то приоткрыл глазок, и на вопрос, с кем, она ответила: «Со мной русский офицер-майор». Дверь открылась, и мы вошли. Пожилой человек, стоявший у дверей со свечой в руках, сопровождал нас. Мы спустились по лестнице вниз. Затем шли большими коридорами, по бокам которых лежало много толстых папок-ско-

росшивателей. Вскоре мы спустились по лестнице еще ниже и опять шли довольно долго, пока не открылась дверь, и мы оказались в большой, хорошо освещенной комнате. Здесь на стульях возле стола сидели мужчины и женщины. Сначала их было человек 15–20, а потом, в ходе нашей беседы, дверь все чаще открывалась, и входили молодые, средние и пожилые люди.

Я поздоровался. Снял плащ-палатку. На моей гимнастерке были два ордена, португеза, а на боку мой неизменный наган. Мария-Луиза тут же начала меня угощать венскими котлетками и вином. Я осмотрелся. На меня с некоторым удивлением смотрели обитатели подвала. Среди них, как мне показалось, были отслужившие солдаты и офицеры немецкой армии, молодые и красивые женщины. Одним из первых вопросов, который мне был задан, был вопрос, почему советские солдаты грабят австрийцев, отнимают часы и забирают другие вещи.

Я признал, что это действительно так, и что это, конечно, очень плохо, но мы, офицеры, за это наказываем своих солдат. Я тут же спросил у сидящих мужчин, в каких городах нашей страны они воевали. Мне отвечали: «Под Харьковом, под Москвой...». Тогда попросил их рассказать, как они вели себя в нашей стране, не видели ли они, как немцы расстреливали советских людей? На эти мои вопросы они испуганно отвечали, что ничего подобного не видели. Я подробно рассказал им о массовых расстрелах мирных советских людей, слушали очень внимательно. Бывшие офицеры и солдаты говорили, что они в этом не виноваты. Это все дело рук «СС» и гестапо.

Разговор затянулся до полуночи. В какой-то момент одна молодая белокурая венка спросила меня: «Почему вы, господин майор, нас не боитесь. Вы ведь один, а нас много?» Я ответил, что, во-первых, я вооружен, во-вторых, наше командование знает, что я нахожусь здесь, а у нас очень берегут своих командиров. Все это, кроме того, что я вооружен, было неправдой, и я, конечно, побаивался.

Вдруг сюда, в эту комнату вбежал человек, который стоял у входа, и взволнованно закричал: «Ворвались русские, требуют часы!» Я тут же, не одеваясь, пошел с ним к выходу. Там, возле дверей, стояли несколько наших солдат. Я обрадовался им. Это означало, что, по-видимому, пришел тот полк, в который я был командирован. Но я не мог при австрийцах говорить со своими, ведь они требовали часы. Я грозно приказал: «Кругом шагом марш!» Они покинули здание. Так и ушли мои возможные желанные освободители, но, изгнав наших солдат, я защитил австрийцев от грабителей, и мой авторитет резко возрос.

В подвале разгорелся спор между его обитателями. Некоторые из них поддерживали воззвание Военного совета фронта к населению, в котором говорилось, чтобы гарнизон сдался без боя, и тогда Вена сохранится и останутся в живых горожане. Другие горячо доказывали, что этого делать не надо. Прибывали люди и рассказывали, какие здания уже горят.

Мария-Луиза спросила меня, где я хочу спать. Было два варианта — или с мужчинами, или в отдельной комнате, возле той, в которой мы находились. Я сказал, что буду спать там, где все мужчины. Мы перешли в другое помещение. В нем стояло много железных кроватей с матрасами. Я подумал, так как здесь будут спать не только нацисты, но и бывшие социал-демократы, не только те, кто призывает к активному сопротивлению Советской армии, но и те, кто за капитуляцию, то они побоятся меня убить. Я положил наган под подушку и заснул. Спал крепко и спокойно. Утром меня разбудила Мария-Луиза. После завтрака она проводила меня в полк, который, как я узнал, прибыл сюда ночью. В этот день, 13 апреля, наши войска полностью овладели Веной.

Об этой ночи, что я провел с австрийцами в подвале банка, я тогда никому не рассказывал, опасался, что, если об этом узнают в СМЕРШЕ, их бдительные работники могли начать следствие, не завербовали ли меня за эту ночь фашисты, ведь наши чекисты никому не верили, а подозревали каждого.

После взятия Вены наши войска шли вперед, и каждый день в Москве после чтения приказа Верховного главнокомандующего салютовали в честь побед на разных фронтах. Салютовали и нашей армии, победоносно шедшей по Австрии.

Я в последние дни перед окончанием войны жил в одном доме с полковником Л.Н. Рубинштейном. Мы часто рылись в покинутых библиотеках. Оба — книжники, мы с удовольствием листали книги, старались что-то сделать, чтобы сохранить их. У Рубинштейна был маленький радиоприемник. Мы с ним первые в нашей армии узнали о том, что война закончилась, что 8 мая во всем мире люди празднуют победу над фашистской Германией!

Однако мы недолго радовались, нам стал известен приказ, полученный командованием нашей армии, преследовать отходящие части противника, которые хотели сдать американиским войскам. Казалось, война закончилась, немцы откатываются к американцам. Ну и слава Богу, скатертью дорога! Тем более, было уже известно, что район, в котором мы находились по договоренности с союзниками, подлежал передаче им, союзникам (кажется, американцам). Но совсем не так рассуждало верховное командование, которое приказало нам догонять отступающих немцев, вступать с ними в бой! И вот, в этот день, когда война была уже закончена, с обеих сторон продолжался огонь, падали убитые и раненые!

Назавтра, 9 мая, в день Победы я видел обугленные трупы советских солдат, сержантов и офицеров! До сих пор я вижу их, молодых воинов, лежащих в центре австрийского городка. Я не могу забыть и никогда не забуду эти совершенно напрасные, никому не нужные жертвы смерти во имя бессмысленных амбиций. Через несколько дней наши войска отошли из этого района, зоны союзников.

В день Победы у нас, как и везде на фронте, люди обнимались, поздравляли друг друга с великой и долгожданной Победой!

В середине мая меня вызвали на заседание военного совета армии. Здесь я впервые увидел нового командующего генерал-полковника Гусева. Там же находились члены военного совета Шепилов и Семенов, а также новый начальник штаба. Никто меня не предупредил, зачем меня сюда вызвали. Неожиданно прозвучало обращение ко мне командующего Гусева: «Мы знаем, что вы, товарищ майор, хотите остаться в Красной армии». Это был провокационный вопрос, потому что накануне я сказал Шепилову: «Война окончилась, я хочу вернуться в Институт экономики». Я примерно так и ответил генералу: «Я пришел в армию добровольно и хочу добровольно вернуться в Москву на свою работу». Видимо, он ожидал такого ответа и сказал: «Хорошо, так и договоримся, выполните задание Военного совета – напишите книгу о боевом пути четвертой гвардейской армии. Мы эту книгу издадим здесь, в Австрии, а вас демобилизуем».

Я согласился. Тут же командующий приказал, чтобы все подразделения армии предоставили мне необходимые материалы и карты. Мне выделили машину «виллис». В редакционную коллегию книги, кроме почетных членов – командующего, начальника штаба, начальников политотдела, разведки и других – включили моего фронтового друга еще по ополченческой дивизии, опытного журналиста и хорошего поэта – Илью Аргинского. И мы приступили к работе.

Эта работа продолжалась полгода. Все эти шесть месяцев мы находились в небольшом, но очень красивом и уютном городке в северной части Австрии – Санкт-Пёльтене. В городе многие знали меня. Ко мне ходили старые рабочие, социал-демократы, коммунисты, женщины и девушки, последние искали у меня защиты от пристававших к ним наших солдат и офицеров, некоторые просили оказать им материальную помощь или отселить солдат и офицеров в другие более просторные дома и тому подобное. Все, что мог, я делал, договаривался с комендантом штаба и другими. Нередко на улицах Санкт-Пёльтена мальчишки и девчонки, завидев меня, кричали: «Унзер майор!»

Книгу мы написали. Она содержала десять глав, из них семь написал я и три — Игорь Бенедиктов. Художник Леонид Львович Резницкий и фотограф Володя Гальперин подготовили много рисунков и фотографий отличившихся участников войны. Для этого были использованы архивы и материалы редакции армейской газеты «Красное знамя». Всех воинов 4-й гвардейской армии, которым были присвоены звания Героя Советского Союза, Резницкий нарисовал маслом. Книгу набрали в одной из типографий Вены, в которой был русский шрифт. Хотя наборщики не знали русского языка, в гранках мы не нашли ни одной ошибки.

Задание военного совета мы с Игорем Бенедиктовым выполнили. Оставалось напечатать книгу. Этим занялся наш редактор Илья Аргинский.

Игорь Бенедиктов получил рекомендацию в Высшую школу разведчиков. Я не знаю, кто именно его рекомендовал и как называлось это учебное заведение. Я провожал его к самолету, на котором он улетел в Москву. Меня чуть ли не в тот же день вызвали в отдел кадров Политуправления фронта. Там мне предложили какой-то новый пост. Мои возражения не имели значения.

Совсем поникший, я долго ходил вблизи штаба фронта. Вдруг я увидел своего постоянного спасителя полковника из Главпура Мисропова. Я бросился к нему, и опять этот человек помог мне. Он сказал, что пойдет к кадровикам и попытается с ними договориться. Я ждал его недолго, он вернулся и сказал, что я могу возвращаться к себе в политотдел.

Армия оставалась в Австрии, но ряды ее заметно поредела: Захватаев и Дервянко остались на Дальнем Востоке, Шепилова вызвали на должность заместителя начальника Главпура. Уезжал и второй член военного совета Семенов. Я узнал, что он едет на студбеккере через Прагу, Варшаву, Минск в Москву. Я попросил его взять меня с собой. Получив от наших кадровиков командировку в Главпур с просьбой о моей демобилизации, я попрощался со своими однополчанами и знакомыми жителями Санкт-Пёльтена и уехал домой.

Мы пересекли границы нескольких стран — Австрии, Чехословакии, Польши и приехали в мою родную Белоруссию. Везде, везде я видел развалины, скелеты когда-то огромных зданий и сооружений, мостов. Совсем разрушенными предстали передо мной Варшава и Минск. До этого такими же я видел Воронеж и Сталинград. Думалось, что нескоро люди смогут восстановить эти города. Но прошло совсем немного времени, и когда я снова побывал в этих местах, города как бы снова выросли из-под земли, и будто не было войны, и они всегда были такими красивыми и многолюдными, и здесь всегда кипела жизнь. Но ходили по этим городам совсем другие люди, другие поколения...

В МОСКВЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ

Я очень хотел вернуться домой к праздникам, к Седьмому ноября. Поэтому, когда мы приехали в Минск, я попрощался с Семеновым и сел в поезд Минск—Москва, который пришел в столицу утром 7 ноября. На Белорусском вокзале такси не было, не было никаких автомобилей. Я нашел носильщика с коляской. Мы с ним пошли по заснеженной Москве на Малую Бронную. По дороге встречные женщины говорили: «Вот идет, счастливый — вернулся домой».

Это было, действительно, так, я был очень счастливым человеком. Я вернулся один из немногих, из тех, кто вышел со мною из Москвы тогда, в июле 1941 года, с дивизией народного ополчения. Нас тогда было 12000 человек, вернулись живыми только 205, включая раненых и больных. Это число счастливых мне назвал после войны наш первый председатель комитета ветеранов дивизии полковник А.М. Меденников.

Подожли к нашему желтому дому — общежитию аспирантов Академии наук. Рассчитался и попрощался с носильщиком. Взял свои чемоданы и поднялся на 3 этаж. Встал в начале коридора. Мимо меня пулей пробежали по коридору

два моих сына, восьмилетний Лев и четырехлетний Виталий. Я стоял. Они побежали назад. Тогда я встал на их дороге. Такой была наша встреча. О том, что я приеду к празднику, никто не знал.

В Главпуре, куда я пришел, чтобы демобилизоваться, мне сказали, что они примут решение позже. Через некоторое время мне опять предложили остаться в армии. Они хотели направить меня в военную академию. Опять мои просьбы отвергались.

И опять вмешался полковник Месропов. Поэтому ровно через месяц после моего возвращения — 7 декабря был издан приказ о моей демобилизации. Счастливым, с приказом в руках, я пришел в свой институт. Вот моя мечта всех четырех лет войны сбылась, и я иду в свой Институт экономики, откуда мы ушли в тот июльский день, в институт, из которого шли к нам, фронтовикам, добрые письма от сотрудников, которые писали, что ждут нас после победы.

Меня встретил и принял новый директор. Им стал весьма скромный незаметный сотрудник Павел Алексеевич Хромов. В июле 1941 года Хромов, как и некоторые другие, сначала записался в нашу ополченческую дивизию, но сбежал из первой казармы, ушел домой. За время войны он защитил диссертацию по истории текстильной промышленности и стал доктором наук. Его социальное происхождение и национальность были безупречны. ЦК ВКП(б) рекомендовал его директором.

Павел Алексеевич почему-то совсем не обрадовался моему приходу. Он долго вертел в руках мою бумажку о демобилизации и сказал, что мне надо будет прийти к нему через неделю. И через неделю, и через две недели повторялись вежливое и прохладное отношение. В последний наш разговор Хромов предложил мне занять должность, которую до войны исполнял Громыко, — секретаря редакции журнала «Проблемы экономики», хотя журнала еще не было. Он начал выходить под названием «Вопросы экономики» через четыре года — в 1949 году. Мои выдержка и

терпение кончились, я закричал: «Если вы, Павел Алексеевич, сейчас же не восстановите меня на моей работе старшего научного сотрудника, я немедленно пожалуюсь! Есть постановление Верховного совета о том, что вернувшимся с фронта обязаны предоставить прежнюю работу!» Эта моя угроза и твердая позиция возымели действие, Хромов издал приказ о моем назначении старшим научным сотрудником.

По всей вероятности, как я это понял потом, Хромову уже была известна установка ЦК ВКП(б) не брать на работу в идеологические институты евреев. Еще шла война, когда старый ученый, член-корр. Д.И. Розенберг в беседе со мной во время моей командировки сказал мне, что К.В. Островитянов, ссылаясь на ЦК партии, заявил, что «исследовать русскую экономическую мысль должны русские ученые».

К моему возвращению в Институте экономики уже работали тоже вернувшиеся с войны Яков Кронрод, Арташес Аракелян, Миша Колганов и Яков Фейгин. Меня тепло и искренне встречали ученые Института Давид Иохелевич Розенберг, Давид Иосифович Черномордик, Константин Васильевич Островитянов и многие другие, холоднее те, кто всю войну провел в тылу, хотя могли быть на фронте. Среди них — Федор Морозов, секретарь парткома, Иван Гладков, Павел Мстиславский, Болгов и другие.

Возвращение домой и на любимую работу мы с однополчанами отметили продолжительным празднованием. Несколько дней отмечаи это событие. Привезенные из Вены 4 литра спирта и полученные по демобилизации деньги мы весело и дружно пропили и проели.

Я начал работу с огромным удовольствием и с большой радостью. Решил, что надо быстро подготовить к печати свою кандидатскую диссертацию.

Вскоре после моего возвращения в Москву Академии наук, вернее, ее хозяйственникам, удалось выселить из общежития аспирантов, как и я, вернувшихся с фронта. Такие попытки были и во время войны, но тогда эта акция провалилась, хотя начальник хозуправления говорил моей жене:

«Никто вашего мужа в армию не посылал, он сам ушел, так настоящие ученые не поступают». Нас всех, вернувшихся, бывших аспирантов и наши семьи на этот раз выселили в ветхие, барачного типа летние домики на окраине Москвы. Однако после больших хлопот-хождений к самому президенту и вице-президенту Академии наук для моей семьи нашлись две комнаты в коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице, которые до того занимал юрист, приятель самого Вышинского, член-корр. Строгович.

Книгу я подготовил и передал ученому совету, с тем чтобы он рекомендовал ее к изданию. Все отзывы были положительными. Однако на ученом совете директор Н.А. Хромов без всякой мотивировки предложил отложить ее издание. (Тогда еще редко выходили книги, и начинать с меня ему не хотелось, а может быть, уже действовали «регулирующие установки».) Все молчали. Попросил слово только один человек, академик Станислав Густавович Струмилин. Он сказал, примерно, так: «Я не понимаю вас, Павел Алексеевич, в институте нет рукописей, готовых к изданию, а сейчас, когда рукопись Маневича готова, вы ее почему-то задерживаете? Не понимаю, не понимаю». После этого выступления академика ученый совет единогласно рекомендовал мою работу к изданию.

Книга вышла в 1947 году. Она тогда была единственной работой о заработной плате в СССР и стала учебным пособием во всех экономических институтах и экономических факультетах страны, особенно в Высшей школе профдвижения, где я работал по совместительству. Сначала меня пригласили на должность доцента кафедры политической экономии. В большом актовом зале я читал лекции. Студентами были мои ровесники, как и я, недавние фронтовики, многие из них были взрослые, вполне сложившиеся люди, которых рекомендовали различные предприятия и учреждения страны. Они были благодарными слушателями. Мне совсем не хотелось им лгать. Да, побывав за рубежом, они и не поверили бы избитым словам о бедности и абсолютном

обнищании трудящихся в капиталистических странах, как об этом говорилось в «Капитале» Маркса и «Положении рабочего класса в Англии» Энгельса и в наших учебниках. Поэтому, когда я начал преподавать, то читал лекции не по политической экономии капитализма, а по так уже начавшей формироваться политической экономии социализма. В этом курсе, как мне казалось, можно было избежать такой лжи. Но и в этих лекциях от преподавателей требовалось подчеркивать так называемые «преимущества» социализма перед капитализмом. Хотя на мои лекции приходили студенты и других курсов, я все-таки перешел с кафедры политической экономии на кафедру экономики труда, которая была здесь основной, профилирующей, так как ВШПД выпускала профсоюзных работников и экономистов по труду. С тех пор на протяжении 28 лет я работал в ВШПД, принял участие в подготовке более 2000 специалистов по труду, а более двух десятков моих аспирантов успешно защитили диссертации и стали кандидатами и докторами экономических наук.

Студенты оказали мне большую помощь в моей научной работе. Они на преддипломной практике, которая проводилась на предприятиях всех отраслей народного хозяйства страны, по моей программе собирали материалы. Эти отчеты студентов дополняли материалы, которые я сам собрал в различных ведомствах (министерствах, Госплане, ВЦСПС) и из литературных источников.

Таким образом, я собрал огромный фактический материал, не отретушированный чиновниками из Центрального статистического управления. Поэтому моя докторская диссертация оказалась большим и честным исследованием.

В том году свой отпуск я проводил в Кисловодске. Купил путевку в академический санаторий. Для отправлявшихся тогда на этот курорт в поезде был специальный вагон. В нем ехали только сотрудники Академии наук, академики, члены-корреспонденты, доктора наук, и редко кандидаты. В моем купе сидели два старика. Один из них холеный, ухо-

женный деятель не то биологической, не то геологической науки. А второй — седой, лохматый, плохо одетый человек, всю дорогу хранивший молчание. Первый же, наоборот, всю дорогу повторял какие-то скучные аксиомы. Я читал. Когда вышли из вагона и поезд ушел, мой старик вдруг попытался догнать уходящий состав, оказалось, что он забыл в вагоне свои ботинки и остался в тапочках.

Я пытался его успокоить. С тех пор я подружился на долгие годы с этим очень интересным человеком. Это был Ландер Яков Евсеевич, сотрудник О.Ю. Шмидта, математик, старый революционер, социал-демократ, член большевистской партии с 1904 года. В юности он был раввином, а затем свою жизнь посвятил революции. Ему пришлось скрываться от жандармов всех режимов, от них он сбежал и в 1937 году. Ландер был первым человеком, с которым мы говорили откровенно обо всем: о Сталине, о Ленине, о 1937 годе, о терроре и лагерях, о прошлом и будущем. Мы дружили до конца его жизни. Он умер в 1956 году, а его вдова с дочерью уехали в начале 70-х годов в Израиль.

В санатории Академии наук в Кисловодске и подмосковных, Узком, Звенигороде, Поречье, в разные годы я познакомился и дружил со многими интересными людьми — с профессором Петром Андреевичем Зайончковским, потомственным дворянином, известным историком России; с профессором Ерусалимским, историком Германии, психологом Михаилом Ярошевским и его женой Анной Израилевной, писательницей Вигдоровой, кинорежиссером Марьяной Таврог, поэтом Самуилом Маршаком, литературоведом Зильберштейном и со многими другими деятелями науки и культуры.

Яков Кронрод познакомил меня со своими друзьями и приятелями — поэтами Давидом Самойловым, Борисом Слуцким, Наумом Коржавиным, Александром Безыменским, писателем-искусствоведом Александром Мацкиным. Запомнилась первая встреча с Борисом Слуцким. Кажется, это было в 1953 году. Мы с Яковом пришли его проведать.

Он, больной, лежал один в неудобной комнате. На полу и столе валялись разбросанные листки со стихами. В тот день Борис Абрамович прочел нам свое стихотворение.

Оно называлось «Бог»:

Мы все ходили под богом.
 У бога под самым боком.
 Он жил не в небесной дали,
 Его иногда видали
 Живого. На Мавзолее
 Он был умнее и злее
 Того – иного, другого,
 По имени Иегова,
 Которого он низринул,
 Извел, пережег на уголь,
 А после из бездны вынул
 И дал ему стол и угол.
 Мы все ходили под богом
 У бога под самым боком.
 Однажды я шел Арбатом,
 Бог ехал в пяти машинах,
 От страха почти горбата,
 В своих пальтишках мышинных
 Рядом дрожала охрана.
 Было поздно и рано.
 Серело. Брезжило утро
 Он глянул жестоко, мудро
 Своим всевидящим взглядом.
 Мы все ходили под богом,
 С богом почти что рядом.

Борис Абрамович очень остро переживал свой проступок. Он поддался уговорам секретарей Союза писателей и выступил с осуждением романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Он до конца жизни не мог простить себя. Я старался его успокоить, но мне это не удалось.

В тот же день, день Советской армии, только через четыре года, в 1990 году умер и другой замечательный поэт

Давид Самойлов. Познакомились мы с ним, когда только вернулись с фронта. Он был молод, занимался переводами и часто читал нам свои певучие, пушкинские стихи. Он тогда мечтал об издании своей первой книги стихов. Она вышла только в 1958 году.

Много послевоенных лет прошло в дружбе с однополчанами моей дивизии и армии. Но с каждым годом их становилось все меньше и меньше, а на последних встречах нас оставалось совсем немного...

Еще до защиты докторской диссертации я на ее основе написал докладную записку в Политбюро о том, что крайне необходимо провести в стране реформу заработной платы. В ней было сказано, в каком направлении следовало ее проводить. Эту записку подписал со мной директор института К.В. Островитянов. Вскоре нам стала известна резолюция Г.М. Маленкова: «Ознакомить всех членов Политбюро». Это был успех мой и института. Однако при Сталине реформу не стали проводить. Она началась только через пять лет, тогда когда был создан Комитет по вопросам труда и заработной платы.

Помню, что еще в конце войны я думал о том, как же мы будем жить, когда она завершится. Неужели, думал я, все останется, как было до сих пор, будут все также искать и находить все новых и новых «врагов народа», по-прежнему будут голодать колхозники, а рабочие жить в бараках, и при этой нищенской жизни будем лгать о наших «преимуществах». Но ведь миллионы рабочих, крестьян и интеллигентов, одетых в шинели, своими глазами увидели на Западе совсем другую жизнь. Даже в таких относительно бедных странах, как Польша, Болгария, Венгрия и Югославия, люди жили намного лучше, чем мы в СССР. А жизнь в Австрии и Германии не шла ни в какое сравнение с нашей, советской! Я помню, с каким волнением пришел ко мне однажды в Санкт-Пельтене рабочий, бывший социал-демократ, и сказал: «К нам в дом пришли ваши солдаты и офицер, посмотрели всю квартиру и закричали: «Буржуй, буржуй!» Это

я-то буржуй, я, который всю жизнь проработал простым пекарем? Если я буржуй, то как же у вас живут рабочие?»

Офицеры и солдаты видели в деревнях добротные дома, видели, как живут в этих домах ухоженные жены и дети, как зажиточно они жили даже во время войны. Видели они и жителей городов, их удобные квартиры, красивую мебель, магазины, наполненные самыми разными товарами и продуктами, и сравнивали, сравнивали с жизнью в СССР.

Между тем, весь огромный аппарат пропагандистов и агитаторов, все газеты, журналы, радио по-прежнему вдалбливали в головы, что усиливаются противоречия, обостряется классовая борьба, растет массовая безработица, нищета и как велики наши «преимущества».

Вся эта назойливая пропаганда провалилась, когда люди своими глазами увидели и сравнили. Вот я и думал, сумеет ли Сталин справиться с этими людьми, которые вернутся домой и расскажут родным и близким, что они видели на чужбине. Если после победы над Наполеоном русские офицеры подняли восстание в декабре 1825 года против своего царя, то что будет теперь после такой войны и после того, как за рубежом побывали 15 миллионов человек?

Я должен здесь признаться, что я ошибался и выдавал, как это часто со мной случалось, желаемое за действительное, когда думал и надеялся, что жизнь народа станет лучше, что Сталин не сможет держать огромный народ в страхе, нужде, бедности, да и народ не захочет жить так, как он жил до сих пор, и не позволит его снова согнуть. Мне казалось, что все, кто так часто смотрел в глаза смерти, кто проявил чудеса личного героизма и мужества, проявят такую же смелость, вернувшись после разгрома фашистов на родину!

Но получилось совсем не так. Я ошибался. Слаженный и послушный аппарат насилия и лжи работал с прежней, а может быть даже с удвоенной силой. Миллионы людей попали в Гулаг. В тюрьмы, в лагеря и в ссылку вновь послали тех, кто уже отбыл свои сроки. Из страшных фашистских лагерей привозили в не менее страшные лагеря чудом оставшихся в

живых солдат и офицеров. Их всех Сталин приказал считать изменниками родины! Малейшее недовольство, смело сказанное слово, анекдот, рассказанный «другу» — этого было достаточно, чтобы попасть в беспощадные лапы органов. Туда попадали и те, кто ничего не говорил, кто не выражал недовольства, но не донес, или чем-то не понравился бдительному соседу по коммунальной квартире, или завистнику по службе, и так далее и тому подобное.

Этому новому этапу массового террора должно было, как всегда в таких кампаниях, предшествовать идеологическое обоснование, и это обоснование нашлось. Его назвали «борьбой с низкопоклонством перед буржуазным Западом», борьбой с «космополитизмом».

БОРЬБА С НИЗКОПОКЛОНСТВОМ И КОСМОПОЛИТИЗМОМ

Внезапно, по команде, газеты и журналы, книги, кино, театры и радио дружно начали разоблачать интеллигенцию, проявляющую низкопоклонство перед всем западным: искусством, наукой, техникой и всем, всем на свете. При этом никто не писал, никто не говорил, что имелось в виду, чего хотят эти борцы, и, конечно, никто не говорил и не намекал, что имелось в виду прежде всего не допустить распространения правды, увиденной воинами там, за рубежом. Нет, об этом молчали. «Разоблачение» началось с внезапного удара по двум замечательным писателям — Ахматовой и Зощенко, а затем по талантливым драматургам и критикам. Потом борьба затронула других писателей и всю гуманитарную науку, а затем, как снежный ком, перекатилась на естественные науки, активно задела многих художников, музыкантов.

Один из первых ударов пришелся по ученым-генетикам. Здесь отличился «ученый-борец», темный, жуликоватый мужик, социально близкий, академик Трофим Лысенко. С шумом и треском была проведена сессия Академии сель-

скохозяйственных наук. Доклад этого академика отредактировал сам «величайший ученый всех времен» Сталин. За сессией последовал разгром целого направления в науке, увольнения с работы, а затем аресты крупных ученых-генетиков. На самой сессии в защиту науки выступили лишь два человека — директор Тимирязевской академии академик Немчинов и доктор биологических наук, герой нашей 4-й гвардейской армии — Иосиф Абрамович Рапопорт. Все остальные поддержали проходимца Лысенко и линию партии.

О подвигах командира батальона И.А. Рапопорта много писали в дивизионной, армейской, фронтовых газетах. Он, потерявший в боях глаз, продолжал успешно наступать, громил фашистов, первым встретился с американцами. Рапопорта представили к званию Героя Советского Союза, но наверху наградили орденом Ленина.

После завершения сессии Иосифа Абрамовича изгнали и из партии, и из Института генетики. Он продолжал свою научную деятельность в Институте физики. В годы перестройки он вернулся в свой институт. Ему предложили восстановиться в партии, он отказался. Незадолго до его трагической смерти (он попал в аварию) его, наконец, избрали членом-корреспондентом АН СССР. Мы с ним почти каждый год встречались на собраниях ветеранов нашей армии.

Вслед за разгромом генетиков приступили к «разоблачению» лингвистов. Оно началось по личной инициативе Сталина. Здесь потерпевшими стали сторонники академика Марра. Затем борьба началась с историками, философами, юристами и ворвалась к нам в Институт экономики. Он в это время был объединен с другим большим Институтом мирового хозяйства и мировой политики, который в течение многих лет возглавлял старый ученый, бывший социал-демократ академик Е.С. Варга. Это он, Евгений Самуилович, вооружил Сталина накануне XV съезда партии своим научным прогнозом о кризисе 1929–1933 годов. Сталин в докладе на съезде выступил, конечно, от своего имени, с этим предвидением, и тем самым закрепил за собой славу гениального

провидца. Сейчас, после войны, позиция Варги и других ученых Сталину почему-то не понравилась, и по его указанию институт был объединен с нашим.

30 апреля 1949 года общественность наших двух институтов устроила предмайский праздничный вечер. На нем должны были познакомиться два коллектива. На этом вечере я познакомился с новой аспиранткой нашего института Нелли Бень (Лелей, Лёшей). Эта встреча перевернула всю мою личную жизнь. С тех пор Лёша стала моим верным другом, добрым товарищем, внимательным слушателем всех моих довоенных, и особенно военных, рассказов, первым читателем и редактором моих статей и книг. Об этой дружбе, о радостных и тяжелых переживаниях, с ней связанных, я когда-нибудь, если это удастся, еще напишу. Здесь скажу только, что Лёша через много лет стала моей женой, мамой нашей дочери Инны, бабушкой наших внушек Миры и Гили.

О причинах ликвидации Института мирового хозяйства и мировой политики (ИМХиМП) рассказал мне и написал в своей последней книжке известный и талантливый ученый, мой друг Вениамин Израилевич Каплан (В. Лан).

В.И. Каплан, сразу после окончания войны, в докладной записке, которую Варга послал Сталину, предлагал получить заем в 25 миллиардов долларов, который США хотели предоставить СССР для восстановления разрушенного войной народного хозяйства, то есть Каплан советовал принять условия плана Маршалла. В докладной записке говорилось о том, что мы должны мирно жить с США, что «если в грядущие годы мы будем соревноваться в вооружениях с Америкой, то нам не удастся использовать плоды великой Победы для поднятия жизненного уровня народа... Мысль о советско-американской войне опасна и вредна... Действительное влияние в мире будет больше всего зависеть не от того, какие у нас будут вооруженные силы и где они будут дислоцированы, а от развития производительных сил страны и уровня жизни населения. Это позволит сократить до минимума расходы не только на вооруженные силы, но и на карательные органы,

пограничную охрану, войска охранной службы. И, наоборот, соревнование в вооружениях приведет к постоянному росту военных расходов, что повлечет за собою отставание в уровне жизни населения СССР по сравнению с передовыми капиталистическими странами» .

Е.С. Варга, пишет В.И. Каплан, отправил эту записку Сталину, отметив, что он не полностью согласен с автором, но считает необходимым довести ее до сведения Генерального секретаря. Сталину записка и советы в ней не понравились, они расходились с его представлениями и с его планами.

Другим предлогом для закрытия института послужило письмо от заместителя директора на имя Сталина о том, что в ИМХиМП работает много научных сотрудников-евреев, т.е. национальный состав института не внушает доверия. Это сообщение пришло, по-видимому, вовремя, в разгар борьбы с космополитизмом и перед готовившейся акцией выселения евреев.

После совершившегося объединения двух институтов началась планомерная проработка и «разоблачение низкопоклонства» в работах ученых института. В различных журналах и газетах печатались разгромные статьи и рецензии, затем проводились расширенные заседания ученого совета, на которых выступали «подлинные марксисты-ленинцы». Они резко и эмоционально ругали уже раскритикованные в печати книги, сборники, диссертации. После этого издавался приказ об увольнении проштрафившихся ученых, допустивших в своих трудах «грубые политические ошибки». Нередко после этого следовало исключение из рядов партии и арест. Там, на Лубянке, начинались и завершались допросы, выбивались «признания». Такой путь прошли многие ученые, и в частности В.И. Каплан (В. Лан), а также член-корр. Левина, доктор наук Гольдштейн и другие.

В отношении некоторых ученых проработка ограничилась только увольнением с работы (Блюмин, Боктицкий, Рабкина), в отношении других «организационные выводы», вероятно, откладывались на какое-то время. Так, оста-

лись работать в институте после унижительных проработок Е.С. Варга, А.И. Мендельсон, Я.А. Кронрод, Я.А. Певзнер и некоторые другие. Никто не знал, насколько их оставили в покое.

Меня эта кампания почти не коснулась. Это, видимо, объясняется тем, что я тогда был защищен весьма авторитетными деятелями — бывшим комиссаром нашей дивизии, избранным в то время секретарем партбюро Института И.А. Анчишкиным, а также К.В. Островитяновым и главным идеологом того времени, моим однополчанином и другом Д.Т. Шепиловым.

Вот два факта.

В 1949 году была напечатана моя небольшая брошюра «Заработная плата при капитализме и социализме». После того как весь ее тираж был отпечатан, ее дважды хотели задержать и уничтожить. Первый раз за то, что, как написал рецензент, в брошюре нет ссылок на труды И.В. Сталина, а только на В.И. Ленина. Выслушав это замечание, я, вместо того чтобы пытаться оправдать себя, уверенно перешел в решительное наступление, я стал кричать, что немедленно напишу Сталину о том, что рецензент противопоставляет Сталина Ленину, что между их взглядами нет никаких различий и противоречий. Угроза, что я напишу Сталину, возымела свое действие. На этой стадии брошюру пропустили.

Но прошло несколько дней, и мне в издательстве сказали, что брошюра без всяких объяснений задержана работником отдела пропаганды ЦК ВКП (б), ведавшим этим издательством. Сказали его фамилию и телефон. Этот работник ЦК с раздражением мне ответил: «Вам надо думать не об издании брошюры, а совсем о другом!»

О чем именно я должен был думать, цекист мне не сказал. Но я, кажется, догадался: в это время уже многие поговаривали, что приближается «окончательное решение еврейского вопроса».

Я тут же позвонил начальнику отдела пропаганды ЦК, а им тогда был Шепилов. Дмитрий Трофимович удивился:

«Он с тобой разговаривал грубо? Это такой вежливый, интеллигентный человек! Не волнуйся, твоя брошюра выйдет». И, действительно, в тот же день издательство получило распоряжение выпустить ее в свет.

Второй случай связан с изданием в 1951 году большой моей книги, опубликованной на основе защищенной в том же году докторской диссертации. Защита прошла хорошо. Председательствовал на ученом совете директор института К.В. Островитянов. Голосование было вполне приличным, только 4 человека голосовали «против». Когда книга вышла в свет, в некоторых журналах появились положительные рецензии.

Но мне стало известно, что заместитель главного редактора журнала «Вопросы экономики», борец с космополитизмом в экономической науке И.А. Гладков готовит разгромную рецензию на мою книгу, и что рецензия за подписью Рашагладова набрана и вот-вот будет опубликована. Я об этом рассказал К.В. Островитянову, который был главным редактором журнала. Он потребовал рецензию, а прочитав ее, выступил на партийном собрании с резкой критикой рецензии, сказав, что книга хорошая, что учений совет присвоил мне за нее степень доктора экономических наук и что выводы из нее использует Политбюро. Рецензия была отброшена и заказана другому автору. Был раскрыт и автор рецензии. Под «Рашагладовым» скрывались три автора: Рабинович, один из редакторов Госполитиздата, Шапиро — работник редакции и Гладков. Если бы эта клеветническая рецензия была тогда опубликована, вряд ли кто-либо смог меня защитить.

В том же 1951 году в ЦК партии два месяца продолжалась дискуссия по макету учебника политической экономии, который был написан бригадой ученых, назначенных ЦК и утвержденных лично Сталиным. В нее входили: К.В. Островитянов, Д.Т. Шепилов, Л.М. Гатовский, И.И. Кузьминов, А. Леонтьев, философ П. Юдин и начальник ЦСУ Старовский. Для участия в дискуссии были приглашены известные ученые-экономисты со всей страны.

Ежедневно каждое утро мы шли в ЦК ВКП(б). Малый зал заседаний был полон. Руководители дискуссией доверенные люди Сталина – Г.М. Маленков и М.А. Суслов. Стенограмма каждого выступления в тот же день направлялась Сталину. Вряд ли кто-нибудь поверил Маленкову, что эта дискуссия, действительно, носит свободный характер, и что можно смело излагать свои мысли. Правда, нашелся один человек, который поверил. Это был работник Московского статистического управления, экономист Ярошенко. Он слишком критично высказал свои взгляды, я уже не помню, по каким теоретическим проблемам политической экономии социализма, за что был вскоре по указанию Сталина арестован.

Сталин на основе наших выступлений (а их было больше 100) сочинил свою речь, которую, как нам говорили, он собирался произнести перед нами. Мы ждали. Участники, вызванные из разных республик, домой не уезжали и тоже ждали в Москве. Так прошел еще месяц, когда нам сообщили, что Сталин решил к нам не приходить, и раздали брошюру «Экономические проблемы социализма». Вскоре она была издана шестимиллионным тиражом и стала экономической программой партии, казалось, на многие годы, но жизнь вождя оборвалась через полтора года, и брошюра была вскоре забыта.

У меня нет никакого желания излагать содержание этой «исторической работы» Сталина, которую тогда превозносили до небес. Хотя многие, и я в том числе, понимали, что она написана непрофессионально, содержит много глупостей и несуразностей, которые, если эти идеи были бы осуществлены, нанесли бы большой вред людям всего так называемого «социалистического лагеря». В ней, например, утверждалось, что скоро наступят стагнация капитализма и дальнейшее абсолютное обнищание трудящихся, неизбежность Третьей мировой войны, а отсюда следовала необходимость нового этапа милитаризации советской экономики, соревнование со всеми странами Запада в производстве оружия, в том числе оружия массового уничтожения. Что каса-

ется так называемой социалистической экономики, то здесь Сталин предусматривал «введение продуктообмена», то есть недопущение рынка, максимальное укрепление и расширение планового управления.

Опять в стране начались массовые аресты. Они уже прокатились в Ленинграде и в Грузии, и вот-вот должны были начаться в столице. Всех, кто в статьях и рецензиях положительно отзывался о книге бывшего председателя Госплана СССР Вознесенского, которую Сталин недавно расхваливал, резко осуждали и увольняли с работы. К этому времени Вознесенский — первый заместитель Сталина по Совету министров, был арестован и расстрелян.

Очередной скандал разразился и в партийной организации нашего института. На этот раз в центре внимания оказался Гладков, которого до сих пор все боялись. Этот человек был у нас самым беспощадным борцом с низкопоклонством и с космополитизмом. Это он первым поднимал свой голос против таких известных ученых, как академики Варга и Трахтенберг, экономисты Блюмин и Г. Козлов, Кронрод и Шнеерсон и других. Ни перед чем не останавливался в своей борьбе против ученых—евреев Иван Гладков. Его страстные речи часто прерывались бурными аплодисментами. Меня Гладков глубоко и искренне ненавидел. Но ему никак не удавалось подвергнуть меня экзекуции. Однажды, встретив меня в коридоре, он с гневом сказал: «Я знаю, что главным космополитом в институте являешься ты, я до тебя доберусь!»

К счастью, Гладков так и не успел «добраться» до меня, а сам попал в тяжелое положение: при проверке, правильно ли коммунисты института платят партийные взносы, было установлено, что Гладков скрыл большую сумму гонорара, полученную за свои статьи и разоблачительные рецензии. То есть обманул партию, от имени и по поручению которой он так горячо выступал.

Этому нарушению Устава партии было посвящено партийное собрание. Я попросил слово. В своем выступлении я сказал, что Иван Гладков, который сам на фронт не пошел,

занимался травлей фронтовиков, требовал изгнания из института многих ученых, заведомо ложно обвиняя честных, талантливых работников в несовершенных политических ошибках. Моя речь была столь правдивой и убедительной, что противопоставить ей было нечего. Я потребовал принять строгие меры к этому человеку, нарушившему требования устава и подрывающего авторитет партии. Возникла опасность, что большинство членов организации проголосует за суровое наказание Гладкова. Но руководство института этого вовсе не хотело. Поэтому председательствовавший объявил собрание закрытым и перенес его на середину января 1953 года. Многие коммунисты поздравляли меня со смелым выступлением, жали мне руку.

Однако, как оказалось, я напрасно радовался. Окончание собрания состоялось через несколько дней. Оно было после того, как в «Правде» появилось сообщение о «деле врачей». На этот раз тон был уже совсем другой. На нем выступил заместитель директора института А.А. Арзуманян. Это был вполне информированный человек, родственник самого А.И. Микояна и однополчанин Л.И. Брежнева. Кроме того, он, наверное, получил инструкции со Старой площади. Поэтому, осудив мое выступление на прошлом партийном собрании, он заключил свою пламенную речь так: «Таких людей, как Маневич, надо выжигать каленым железом!»

Я запомнил, как горячо и убедительно произносил он эти слова, помню при этом оскал его белых зубов. Позже этот человек, статьи и книги которого писал научный сотрудник Анатолий Шапиро, стал академиком, директором Института мирового хозяйства и мировой политики, то есть занял пост Е.С. Варги. Его расхваливали ученые, особенно евреи, за его либерализм и демократизм.

Наши отношения с Д.Т. Шепиловым оставались вполне дружественными, хотя виделись мы с ним редко. После непродолжительной работы в Главпуре на него обратил внимание идеолог партии Жданов и пригласил его на работу в ЦК. Сначала он работал заместителем, а потом начальни-

ком Управления пропаганды. Он понравился Сталину и был назначен главным редактором «Правды». На XIX съезде его выбрали членом ЦК ВКП(б). Так осуществилось мое предсказание еще с фронтовых времен. Изредка мы встречались с ним у него дома, на даче или на работе, а иногда гуляли по улицам Москвы. Во время этих встреч и бесед я пытался высказывать свое понимание событий того времени. Так, я помню, когда отмечалось семидесятилетие Сталина и в «Правде» долгое время печатались списки многочисленных, непрекращающихся приветствий со всех концов страны и света, и шли они ежедневно под заголовком «Поток приветствий», и этот «поток» затянулся с декабря 1949 г. до апреля 1950 г., я как-то сказал ему: «А не пора ли его остановить?» На это Шепилов, улыбаясь, ответил, что я представляю мелкобуржуазную интеллигенцию, которая не понимает, какие глубокие чувства питает к своему вождю советский народ. Поток приветствий продолжался.

В другой раз я говорил с Шепиловым о том, что пора прекратить безобразную кампанию по избиению советских ученых, раскрытию псевдонимов евреев-писателей, вообще пора остановиться в этой «борьбе с космополитами», ибо она наносит непоправимый вред науке и культуре. Дмитрий Трофимович выслушал меня очень внимательно, я видел, что он согласен со мной, хотя развел руками, сказав, что он ничего сделать не может, и дал мне ясно понять, кто является инициатором и организатором этой кампании. Правда, через некоторое время активное «разоблачение» и изгнание евреев-ученых вроде бы поутихло. Я, конечно, не думаю, что это был прямой результат нашей беседы. Однако не исключено, что какую-то роль она сыграла.

Общая обстановка в стране еще более накалилась в связи с «делом врачей». Люди стали бояться обращаться к врачам-евреям. Всюду мерещились убийцы в белых халатах. В магазинах, на транспорте, на улицах Москвы многие проклинали «жидов», возникали и активно распространялись слухи о том, что скоро, совсем скоро все евреи будут высе-

лены, как были высланы крымские татары, немцы, чеченцы, калмыки и многие другие народы.

Наши русские соседи по коммунальной квартире готовились переехать в комнаты евреев. К старому врачу Марьясину, занимавшему две комнаты, пришла соседка, жена милиционера, у которой была одна комната, и попросила обменяться с ней: «Вас ведь все равно вышлют», — сказала она врачу.

Только очень заслуженные евреи не верили, что и их, столь преданных советской власти людей, тоже могут выслать. Таким, например, был мой однополчанин, гвардейский полковник Яков Старчевский, который пытался мне доказать, что крымских татар и другие народы выслали «за дело» потому, что они перешли на сторону немцев, а евреи ведь хорошо воевали, за что же их выслать.

В Институте экономики продолжались увольнения ученых-евреев. Но, по сравнению с тем, что происходило в других институтах Академии наук, в московском и ленинградском университетах, в нашем институте было спокойнее. Это объяснялось тем, что в это время секретарем партийного бюро снова стал честный и смелый человек Иван Александрович Анчишкин. Именно он каждый раз выступал в защиту невинных людей. К нему присоединился и директор К.В. Островитянов, который был, как мне казалось, рад, что мог опираться на секретаря партбюро.

Я думаю, что Константин Васильевич не был ни антисемитом, ни сталинистом. Он, конечно, хотел в этой сложной обстановке уцелеть. Ко мне он всегда относился хорошо. Возможно, это отношение сложилось с аспирантских лет. Тогда, в 1937 году, кто-то из наших аспирантов донес в партбюро, что руководитель нашего семинара проф. Островитянов рекомендовал нам книгу врага народа. Секретарь партбюро Левитанус пригласил меня в партбюро. Я тогда был секретарем комсомольской организации института и опроверг этот донос. Все обошлось. Константин Васильевич как-то доверительно мне рассказал, со слов Стана, который преподавал

Сталину философию, что этот его ученик оказался на редкость тупым в понимании диалектики Гегеля.

В начале 1952 года в Москве проходил XIX съезд партии. С предыдущего XVIII съезда прошло 14 лет. Видимо, и этот съезд не нужен был Сталину, а был ему навязан. На съезде Сталин решил поменять свою старую команду, вместе с которой он так успешно уничтожил всех своих врагов, перебил и сгноил в тюрьмах и лагерях много миллионов людей. Сейчас наступила очередь и этих преданных ему палачей. Предстояла огромная чистка. Ее нужно было проводить уже с новыми, молодыми людьми. Именно поэтому, по предложению Сталина, после съезда Пленум ЦК избрал в Политбюро 25 членов и 11 кандидатов вместо 10. В «узкое» Политбюро не попали: Молотов, Ворошилов, Микоян, Андреев. Под угрозой оказался второй после Сталина палач — Лаврентий Берия.

Переломным этапом в стране, сигналом для новой огромной волны террора должен был стать суд над «врачами-убийцами». После этого суда намечалась депортация всех евреев. Для них в Сибири строились бараки. Возглавлять эту акцию Сталин поручил М. Сулову, уже доказавшему, на что он способен при депортации кавказских народов и при расправе с литовцами. Суд должен был проходить там же, где состоялись процессы над Зиновьевым и Каменевым, Радеком и Пятаковым, Бухариным и Рыковым, — в Октябрьском зале Дома Союзов. После суда, как позднее рассказывали осведомленные люди, осужденных на смерть должны были вывести из Дома Союзов. Здесь заранее подготовленные на Лубянке «простые русские люди» должны были отбить осужденных у охраны и тут же растерзать. Назавтра после этой расправы, чтобы «оградить евреев от справедливого гнева русского народа», должен был появиться Указ Верховного Совета о выселении всех евреев.

В «Правде» и журнале «Большевик» предполагалось опубликовать статью, в которой обосновывалась «эта гуманитарная акция» советского правительства. Автором этой заранее

подготовленной «теоретической» статьи был новый член Политбюро философ Чесноков. Через 7 лет в 1960 году мы с ним были в командировке от ЦК партии в Челябинске и, возвращаясь в Москву, в вагоне поезда я пытался расспросить этого доктора философии о той статье, но он отказался рассказывать об этом «почетном» задании Сталина.

Страна находилась в ожидании суда, массовых арестов и расстрелов. Мне тогда казалось, что все эти события предшествуют развязыванию Третьей мировой войны.

(Сейчас, когда я пишу эти строки, в Москве уже несколько месяцев продолжается суд над распушенной Б.Н. Ельциным КПСС. Ее сторонники вновь хотят воскресить партию. На суде представители президента Ельцина обнародовали огромное количество документов из архивов ЦК КПСС, из «особых папок». Однако почему-то не предоставлен ни один документ о решениях Политбюро о депортации целых народов и ни одного документа о подготовке к высылке евреев, а ведь по злой воле Сталина были высланы люди только по национальному признаку. Почему это?)

СМЕРТЬ ДВУХ ПАЛАЧЕЙ

Наступил март 1953 года. Вдруг в газетах исчезли статьи о врачах-убийцах. Вместо них вскоре появились тревожные сообщения о болезни И.В. Сталина. Они готовили народ к пониманию, что и этот «величайший из великих» людей тоже смертен. (Потом стало известно, что он умер до того, как появились сообщения о болезни.) Смерть тирана меня очень обрадовала. Даже смерть другого диктатора, Гитлера, не вызвала такой радости.

В этот день я сказал своим детям, чтобы они не ходили в школу, не выходили на улицу, а сам пошел к своему фронтальному другу — Якову Кронроду. По дороге видел толпы людей, спешащих в Дом Союзов увидеть и попрощаться со своим вождем и учителем.

В те дни многие рассказывали, что на пути к Дому Союзов со стороны Трубной площади кто-то распорядился загородить дорогу большими грузовиками. Люди не знали об этих машинах, бежали и натыкались на эти заграждения, началась давка, все увеличивалось число стремящихся пройти, и люди давили друг друга. Здесь нашли свою смерть тысячи людей. В этой давке погиб и мой племянник Борис, сын моей сестры Мани. Ему было 15 лет. Я до сих пор жалею и упрекаю себя за то, что не поехал в то утро к сестре и не сказал ее детям то, что я сказал своим сыновьям, — никуда не выходить из дома. Борис погиб, как и многие другие, только потому, что хотел увидеть вождя. Если бы он знал, кем этот вождь был на самом деле, он бы остался жив. Но я-то знал, кто он, этот «друг народа», но, как и все, боялся рассказывать о нем не только племяннику, но и своим детям, боялся за себя, за них, оберегал их от Лубянки.

Пришел на улицу Семашко, 16. Здесь жил до войны и сюда вернулся мой друг Яков Кронрод, тот человек, один из немногих с которым мы все годы разговаривали откровенно и не расходились в оценке Сталина и сталинщины. Он, связанный родством со старыми большевиками, которые были уничтожены по воле Сталина, рассказывал мне о многих чудовищных преступлениях «вождя народов». Но каково было мое удивление, когда на мое радостное, счастливое восклицание: «Сдох же он, наконец!», — я увидел расстроенного Якова: «С его смертью закончилась целая эпоха!»

Оплакивали смерть Сталина и многие другие люди, одурченные многолетними лживыми воспеваниями этого выдающегося тирана-уголовника. В этом нет ничего удивительного, но трудно было объяснить, что среди плачущих оказались такие люди, как Яков Кронрод и Константин Симонов. Симонов писал: «Первым главным чувством было то, что мы лишились великого человека... Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго в первые месяцы. Оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства... сочинил передовую статью, опубликованную в «Литератур-

ной газете» 19 марта 1953 года, в которой среди иного прочего было сказано следующее: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для следующих поколений образ величайшего гения всех времен и народов – бессмертного Сталина» (Журнал «Знамя», 1988, № 4). Прочитав эту передовицу в газете, другой, более умный деятель, человек со здравым смыслом Н.С. Хрущёв, позвонил в Союз писателей и потребовал отстранить Симонова от руководства «Литературной газетой».

Такая реакция Якова на смерть Сталина была для меня непонятной и неожиданной. Я, как мог, успокоил своего друга и решил, что причина такой реакции кроется в каких-то случайных психологических переживаниях. Вскоре я забыл об этом эпизоде. Но через несколько лет где-то в Прибалтике мы впервые по-настоящему поспорили с ним, и опять в связи с уже давно умершим Сталиным. На этот раз большой гнев и раздражение вызвала у него статья в «Новом мире» маршала Конева, в которой, по мнению Кронрода, недооценивался полководческий гений Сталина. Мы разругались впервые за четверть века нашей, как мне тогда казалось, прочной дружбы. Значит, подумал я, не случайно Яков тогда оплакивал вождя, а я радовался.

Мне предложили выступить на траурном митинге в нашем институте. Я принял это предложение. Помню, что в своей речи на панихиде я говорил, что, когда умер Ленин, стране было очень тяжело пережить утрату. Другое дело сейчас: мы стали умнее, опытнее, богаче, да и народ наш стал другим. Он стал культурнее, мудрее, и он, я в этом уверен, легче справится с этой потерей и добьется подъема и успехов в строительстве нового общества. Так, примерно, я тогда говорил, надеясь, что без Сталина народ, победивший фашистов, будет, наконец, жить свободно и лучше, и что отпадет нависшая угроза новой волны террора над всем народом, и особенно над евреями и интеллигенцией.

В какой-то степени мои предвидения и надежды, действительно, осуществились. Очень скоро, уже в начале апреля, было прекращено дело «врачей-убийц». Те, кто был «подготовлен» жестокими пытками к суду, были освобождены из Лубянской тюрьмы и с почетом вернулись домой. В газетах сообщалось, что врачи, оказывается, ни в чем не виноваты. Потом появились слухи, а потом и официальные сообщения об исправлении ошибок в национальном вопросе, о выдвижении в каждой республике своих национальных кадров. Стали больше писать о необходимости перестройки всего народного хозяйства, в частности об установлении более правильных соотношений между накоплением и потреблением, о развитии запущенной сферы народного потребления, об уменьшении инвестиций в сферу производства средств производства, более быстром развитии легкой и пищевой промышленности.

В стране стало намного легче дышать. Появилась надежда на отход от сталинщины. Имя Сталина стали упоминать все реже и реже. Было упразднено созданное Сталиным Политбюро, в которое входило 25 человек, и восстановлена старая десятка. На авансцену выдвинулись три человека — Маленков, Берия и Хрущёв. Такие заметные и незаметные изменения нарастали до июля того же 1953 года. В июле произошел новый государственный переворот — был арестован, осужден и расстрелян второй после Сталина палач Лаврентий Павлович Берия.

Я в то время был одним из активных лекторов Московского городского комитета партии. Видимо, поэтому меня пригласили в горком читать совершенно секретную объемистую книгу по делу Берии. Эти закрытые материалы я читал внимательно целый день. В них было, конечно, много обычной лжи и прямой клеветы — надо было во что бы то ни стало дискредитировать ближайшего сподвижника Сталина, возглавлявшего в течение многих лет всю внутреннюю и внешнюю разведку, организовавшего производство водородной и атомной бомбы.

Прочитав внимательно все материалы, я тогда же пришел к выводу, что в отличие от сотен тысяч осужденных и расстрелянных людей Берия, пожалуй, единственный человек, который на самом деле поднял руку на Сталина. К этому выводу я пришел, когда прочел подробное описание секретной лаборатории на Лубянке. Ее организовал высококвалифицированный врач. Его фамилия, кажется, Майрановский. Он после длительных экспериментов над приговоренными к смерти людьми добился «успеха». Он (или его сотрудники) вводили в организм человека какой-то яд. После этого, через несколько дней, человек умирал от сердечной недостаточности. Там приводились факты, когда, по указанию Берии, так были убиты, а затем торжественно похоронены известные партийные деятели, генералы, ученые.

В этом же деле я прочитал письмо за подписью Берии Председателю Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) Кафтанову с просьбой присудить ученую степень доктора медицинских наук без защиты диссертации «за особые заслуги» заведующему лабораторией Майрановскому. Там же было опубликовано решение ВАКа о присуждении этой степени.

В обвинительных материалах сообщалось и о том, что в личном сейфе Берии хранились документы, которые свидетельствовали о намерении их хозяина объединить две Германии, т.е. ликвидировать «народно-демократическую Германию». Как известно, это событие произошло через 40 лет, когда объединение совершил сам немецкий народ.

В материалах сообщалось также о том, что Берия не сумел скрыть свою радость, когда он с другими соратниками увидел на полу умирающего Сталина, он радостно закричал: «Сдох тиран!»

Прочитав все эти материалы, я тогда же пришел к твердому убеждению, что Берия — единственный человек, который на самом деле сумел расправиться со Сталиным. К этому выводу я пришел задолго до появления книги Авторханова «Загадка смерти Сталина», в которой тоже говорилось о том, что Берия избавил страну от людоеда.

Конечно, Берия спасал себя. Его судьба была Сталиным предreshена. Ему предстояло разделить ее с его предшественниками на этом опасном посту с Дзержинским, Менжинским, Ягодой, Ежовым. Это очень хорошо понимал Берия. Он видел, что вот-вот подойдет и его очередь: в Грузии уничтожались его друзья, менгрельцы. «Дело врачей» было поручено не ему, а новым начальникам на Лубянке, в редакционной статье об этом деле, написанной самим Сталиным, говорилось об ошибках НКВД и потере большевистской бдительности. Все, все говорило о том, что пора ему, Берии, действовать, и что двоим палачам на этом Олимпе места нет. Такая угроза нависла и над другими старыми соучастниками преступлений Сталина — Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем и более молодыми — Маленковым и Хрущёвым. Спасая себя, Берия тем самым спас миллионы людей, в том числе евреев, от депортации и смерти.

НА КОНФЕРЕНЦИИ МОТ В ЖЕНЕВЕ

В 1954 году СССР после длительного перерыва снова вошел в Международную организацию труда (МОТ). В 1930-х годах делегацию Советского Союза возглавлял Б.А. Маркус. Каждая страна посылает на конференцию в Женеву три делегации: от правительства, профсоюзов и предпринимателей. Таких делегаций от СССР было три — от Белоруссии, Украины и СССР. Делегацию от СССР формально возглавлял заведующий отделом труда Госплана Роговский, а фактически его советник — заведующий экономическим отделом МИДа Амо Арутюнян, который до войны был у нас в Институте экономики заместителем директора. Я ему обязан выбором темы моей кандидатской диссертации. Я был советником предпринимателей, делегацию которых возглавлял директор московского завода «Динамо» Крестов. В мои обязанности входила подготовка речей для Крестова. Но потом получилось так, что я должен был

писать речи и для других делегатов — правительства СССР и Украины и профсоюзов Белоруссии.

В Женеву мы летели на большом военном самолете, в котором не было кресел, а по бокам стояли скамейки, было холодно и голодно. Но у опытного Амо была припасена с собой еда, он угощал меня и некоторых других делегатов. Прилетели в Женеву. Это была моя первая заграничная командировка. О Женеве я, конечно, много слышал и читал. Ведь здесь жили наши народовольцы, Герцен и Бакунин, Плеханов и Мартов, Ленин и Троцкий, здесь печаталась «Искра».

В первый день Амо повел меня показывать уютные кафе и кабачки, в которых бывали организаторы социал-демократической партии России. Он говорил: «Вот сюда любил ходить Ленин и его друзья, а сюда ходили Плеханов и Аксельрод, Засулич и Мартов». Амо угощал меня женевским вином и рассказывал о своей дипломатической службе.

Когда мы возвращались с ним в гостиницу, я сказал, что у меня к нему есть одна просьба. Поскольку мне предстоит готовить для делегатов речи, я его прошу поселить меня, пусть в самом маленьком номере, но на одного, без соседей. Амо обещал, и он выполнил свое обещание. Но, как только я расположился в моем номере, я услышал громкий крик в коридоре. Это кричал третий советник нашей делегации предпринимателей. До того очень скромный, тихий, бесцветный человек, Федоров, о котором в списке делегатов было сказано, что он инженер-химик завода «Каучук». Федоров кричал: «Почему вы поселили профессора Маневича одного в номере?! Ведь вы знаете, что мне приказано жить с профессором Маневичем в одном номере!»

Амо отвечал тихо и уважительно. Он пытался ему объяснить, что Маневичу нужно будет много работать, поэтому он поселил меня в отдельный номер. Однако этот делегат еще долго кричал, что именно он должен жить со мной.

Так я узнал, кто ко мне прикреплен, поэтому каждый раз, когда мне надо было куда-нибудь идти по делам, я под-

ходил к нему и говорил: «Пошли, товарищ Федоров». И он шел со мной. Так, в первые дни, когда я ходил в библиотеку МОТ, где в русском отделе на полках стояло много книг, которые в СССР я и видеть не мог, а не только читать, я звал его: «Товарищ Федоров, мне надо готовить речь, идемте со мной в библиотеку!» Федоров шел со мной, хотя ему так хотелось глазеть на сверкающие витрины. Но он шел со мной и терпеливо ждал, пока я долго читал, а он, бедный, маялся и ждал, ждал меня.

Вскоре, как я и надеялся, ему надоело меня сопровождать, и однажды он взмолился: «Знаете, профессор, идите вы сами, а мне нечего там делать!» Я обрадовался. Наконец я мог снять с полок книги, о которых я мечтал. Поэтому я снимал с полок те книги, которые мне нужны были для подготовки речей, и клал их сверху тех, которые в Москве хранились в спецхранах. В женевской библиотеке я смог прочесть книгу Троцкого «Моя жизнь», сборники давно запрещенных изданий первых лет революции, мемуары российских эмигрантов и многое другое.

Ходить по городу одному было запрещено. Поэтому делегаты из страны советов сначала ходили большими компаниями. Так, в первый или второй день мы шли большой группой и разговаривали. Встретившийся с нами человек, услышав русскую речь, радостно закричал: «О, вы русские! Откуда вы приехали?» Я остановился и ответил, что мы из Москвы. Он стал меня расспрашивать о Москве, об улице Большая Якиманка, на которой он родился и жил. Я отвечал на его вопросы. Человек волновался и говорил, как он мечтает увидеть свою Родину. Я оглянулся, все мои попутчики ушли далеко. Потом они пожаловались Арутюняну на меня: «Маневич на улице беседовал с белогвардейцем!» Но вопреки их ожиданиям Амо кричал на них: «Как вы посмели оставить Маневича одного? Почему сбежали? Маневич прав, а не вы!»

Я работал много. Писал речи почти каждый день, которые потом читали с трибуны делегаты. Но в Женеве я мно-

гое узнал и прочел. Здесь я узнал из материалов МОТа, что в лагерях Гулага одновременно находится на принудительных работах 13 миллионов человек! Узнал, что эти рабы получают пайки, которые содержат меньше калорий, чем корм сторожевых собак. Здесь я прочел копии официальных приказов о расходах на содержание заключенных и собак. Разница была большой в пользу собак.

Был май 1954 года. Женева сверкала чистотой, богатством, избытком. Красив и удобен Дворец наций. На зеленой лужайке вблизи дворца стоит огромный земной шар. Машины одна за другой подъезжают к дворцу, из них выходят делегаты, приехавшие сюда из всех стран мира, люди спортивного вида. Они весело и дружелюбно здороваются друг с другом, расходятся по секциям. Мне же здесь было неуютно и тревожно. Кроме прикрепленного ко мне Федорова, я чувствовал, что за мной следили и другие делегаты, которые, как оказалось, как и Федоров, не имели никакого отношения к делам МОТ. Многие из них были из разведки и контрразведки. Они следили, вероятно, и за другими делегатами, но за мной в особенности, потому что я был в делегации единственным евреем. Со мной очень хотели познакомиться и поговорить делегаты из Израиля. Куда бы я ни ходил, они везде ко мне подходили, заговаривали, спрашивали обо мне, о стране, о нашей жизни. Слежка за мной все усиливалась. Мне трудно было избегать израильтян и стыдно уклоняться от беседы.

В том году делегацию Израиля возглавляла министр труда этого государства Голда Меир. (В книге делегатов — Меерсон.) Однажды израильская делегация пригласила в свое посольство в Женеве всех без исключения делегатов СССР, в том числе даже наших экспертов.

Мне Амо сказал: «Вы, Ефим Львович, на этот прием не пойдете». Мне потом рассказывали, что, когда все пришли туда, израильтяне спрашивали: «Где же профессор Маневич? Почему он не пришел?» Арутюнян им отвечал: «Профессор Маневич занят моим срочным заданием».

Шло пленарное заседание МОТ. Зал был переполнен делегатами, советниками, экспертами и журналистами. Обсуждался острый вопрос, волновавший общественное мнение во всех странах мира, — о принудительном, рабском труде в разных государствах. Делегат от Тайваня обвинил СССР в том, что в нем применяется труд миллионов заключенных в лагерях. Тут же выступил Арутюнян. Он грубо обругал тайваньского делегата. Когда кто-то еще повторил эти обвинения в адрес Советского Союза, Арутюнян в соответствии с требованиями регламента не мог вторично получить слово, прислал мне записку. Я в ней прочел: «Сейчас от СССР будете выступать Вы». Я ему ответил запиской, что не хочу и не буду выступать по этой проблеме. Тогда он прислал мне еще одну записку, в которой сообщалось, что он попросил председательствующего предоставить мне слово. Дальше в записке говорилось: «Если Вы откажетесь от выступления, то я об этом сообщу в ЦК партии».

Вскоре председатель объявил: «Слово имеет делегат СССР профессор Маневич». Я никогда не забуду этот самый позорный день моей жизни. Я поднялся на трибуну Международной организации труда, чтобы лгать в присутствии представителей всех стран мира. Когда я закончил свою речь, в которой, конечно, говорил о том, что в нашей стране социализма нет принудительного труда, говорил, вопреки тому, что было известно многим и мне самому. Ведь здесь, в Женеве, я прочел в материалах МОТ о том, что в советских лагерях трудятся миллионы рабов.

Сойдя с трибуны, я больше не вернулся на свое место, а прошел через весь зал и вышел из Дворца наций. В тот день я долго, долго шел один по Женеве, все дальше и дальше. Вернулся в гостиницу поздно. Здесь меня встретил мой приятель и единомышленник, доктор юридических наук Арон Ефимович Паперстник, специалист по принудительному труду в капиталистических странах. Когда я ему сказал, что мне стыдно смотреть людям в глаза, он ответил: «Вы напрасно волнуетесь. Вы выступили как надо. А зачем нас сюда посла-

ли? Если мы сюда приехали, мы должны говорить то, что прикажут!» Эти утешения мне не помогли, мне было стыдно тогда и стыдно сейчас, через 37 лет.

ИНСТИТУТ ТРУДА И Л.М. КАГАНОВИЧ

В сентябре 1955 г. я был на трибуне Института экономики, выступал на заседании ученого совета, который обсуждал рукопись книги о хозрасчете в СССР моего друга Я.А. Кронрода. Совет должен был решить, можно ли рекомендовать эту рукопись к изданию. До меня выступали несколько человек, которые ругали и рукопись, и автора. Они нашли в ней много ошибок и выступали против издания. Я доказывал, что никаких политических ошибок в ней нет и что такая книга нужна и теоретикам, и практикам.

В самый разгар моего выступления к трибуне подошла секретарь дирекции и подала мне записку о том, что меня срочно вызывает в Кремль Л.М. Каганович. Я не успел еще изложить все, что заранее намечал сказать в защиту рукописи. Поэтому я продолжал свою речь. Через некоторое время секретарь опять пришла с новой запиской, напоминая, что меня ждут в Кремле. На этот раз я закончил речь и поехал.

Во всех проходных Кремля меня пропускали без задержки. Я быстро дошел до кабинета первого заместителя Председателя Совета министров, члена Политбюро ЦК Л.М. Кагановича. В большой комнате перед кабинетом уже было много людей, среди них я увидел и нескольких знакомых. Тут же нас пригласили в кабинет. За столом сидел человек, портреты которого я привык видеть на стенах домов и демонстрациях в течение многих лет.

Началось заседание. Каганович сказал, что пригласил нас в связи с тем, что Политбюро приняло решение создать Государственный комитет труда и заработной платы при Совете министров СССР. Он хочет услышать правдивую информацию о положении в стране с организацией труда, и прежде

всего с заработной платой, а также предложения о задачах нового комитета.

Во время его речи я всматривался в лица приглашенных. Некоторых я знал по различным совместным заседаниям в Академии наук и других учреждениях, в Госплане, ВЦСПС и некоторых экономических институтах. Были здесь и министры, и их заместители.

Первым выступил А. Григорьев, доцент Госэкономического института. Он долго и нудно доказывал, что главная причина серьезных недостатков в организации заработной платы рабочих заключается в плохом нормировании труда. На моем лице, видимо, выразилось несогласие с Григорьевым. Это тут же заметил Каганович, который сказал: «Я вижу, профессор Маневич не согласен с выступающим. Я скоро вам дам слово».

Во время моего выступления меня никто не перебивал. Я подробно рассказал о том, что устарела вся система организации труда в стране, особенно ее тарифная система, которая повсеместно нарушается из-за низкого ее уровня, не обеспечивающего прожиточный минимум трудящихся. В связи с этим, на мой взгляд, возникла необходимость срочно провести в стране реформу заработной платы. Чувствовалось, что председательствующий и другие не очень довольны моей критикой, особенно когда я говорил о сложившейся слишком большой централизации всей системы заработной платы в стране.

Через несколько дней мы все снова были приглашены к Кагановичу. В этот день нам раздали проект постановления о создании Государственного комитета по вопросам труда и заработной платы при Совете министров СССР. Каганович спросил, есть ли замечания. Все сказали, что замечаний у них нет. Я же попросил слово и резко раскритиковал этот проект. Я сказал, что в проекте постановления несправедливо вина за недостатки в организации заработной платы в стране возлагается на предприятия, а также на министерства. На самом деле, так как вся система заработной платы у нас строго цен-

трализована, предприятия не имеют никакой возможности и прав вносить какие-либо изменения в тарифную систему, и даже в нормы оплаты труда.

Мое выступление очень рассердило Кагановича. Он стал кричать: «Кто же, по-вашему, виноват, если не директор предприятия и не министр?! Значит, мы виноваты?!» Он обратился вдруг к министру юстиции: «Товарищу Горшенин, может быть, вам нужен в министерстве адвокат Маневич, так берите его к себе».

(Горшенин что-то промывчал. Потом, через много лет, когда я с ним встретился на какой-то конференции, я спросил его, кто же был тогда прав, я или Каганович. Он ответил: «Прав всегда тот, у кого больше прав».)

Мне показалось, что Каганович меня не понял. Чтобы пояснить свою мысль, я сказал: «Я приведу вам пример. До войны вы были назначены наркомом в тяжелой промышленности. Вы тогда сделали хорошее дело — добились резкого повышения заработной платы горнякам угольной промышленности, их труд особенно тяжел и опасен. Но вот после войны вас назначили министром промышленности строительных материалов, и вы, пользуясь своим положением и авторитетом, добились повышения заработной платы рабочим этой отрасли, и сейчас их заработки стали выше, чем у рабочих металлургической отрасли, а это уже неправильно...».

После этих моих слов Каганович вскочил и резко меня перебил: «Меня партия поставила на этот пост», — и еще что-то... Сидевший рядом со мной крупный и опытный чиновник, бывший заместитель председателя Госплана Сухаревский, дергал меня за штаны и пиджак и уговаривал сесть.

Когда заседание закончилось, Каганович попросил меня остаться. Он обратился ко мне с просьбой подготовить в двухдневный срок подробную записку о том, что должен в первую очередь делать новый комитет.

Через несколько дней Каганович позвонил мне домой. К телефону подошла одна из соседок по коммунальной квартире. Ее спросили: «Это квартира профессора Маневича».

ча?» Она грубо ответила, что это квартира общая, а Маневич тут такой же жилец, как и все остальные. Я подошел к телефону. Это был Каганович. Он вежливо спросил, не готова ли записка, которая нужна ему срочно. Я пообещал скоро ее закончить.

Через несколько дней мы снова встретились. Я отдал записку. Каганович прочел ее и предложил мне перейти к нему на работу помощником по проблемам труда и заработной платы. Я вежливо отказался от этой должности. Он обиделся: «Вам, доктору наук, зазорно работать помощником у члена Политбюро, первого заместителя Председателя Совета министров СССР? Вам этого мало?» Я ответил, что дело не в этом — я научный работник, и хочу им остаться.

О том, как менялось у Кагановича мнение обо мне и как это сказалось на его планах использования меня в Госкомитете, мне рассказали два его помощника — Черняк и второй, фамилию которого я забыл. Вначале, когда я был первый раз приглашен в Кремль на заседание (меня рекомендовал ему академик Островитянов) он хотел назначить меня своим первым заместителем. После моего критического выступления он понизил меня до простого заместителя, затем предлагал быть его помощником, главным редактором будущего журнала «Социалистический труд», а когда я отказался, предложил организовать новый Институт труда. Каганович попросил предоставить ему структуру института и начать набор сотрудников. Я согласился, продумал структуру института, наметил, какие сектора и лаборатории в нем будут, первоочередную тематику и кого пригласить на работу.

Однако вскоре я узнал о том, что Сухаревский отговорил Кагановича назначать меня директором института. Он сказал, что общественность будет плохо реагировать на то, что председатель комитета — Каганович, а директор института — Маневич. Поэтому Лазарь Моисеевич предложил мне должность первого заместителя директора института, а директором назначил бывшего директора авиационного завода Виктора Николаевича Лисицына. Но когда вскоре

мы с директором пришли к Кагановичу и он стал отдавать мне распоряжения, я напомнил: «Лазарь Моисеевич — вот же директор». Каганович грубо махнул рукой перед лицом Лисицына и сказал: «Да какой он директор!» Я взглянул на Лисицына — ни один мускул не дрогнул на его лице. Он спокойно проглотил эту грубость и пренебрежение. Потом я видел, что точно также проглатывали грубости и ругань Кагановича очень многие министры, председатель Верховного Совета и другие высокопоставленные чиновники и государственные деятели. Я был свидетелем того, с какой грубой бранью набросился однажды этот сановник на ответственного редактора журнала «Социалистический труд» А.Н. Кузнецова, бывшего первого помощника Жданова. Было очень тяжело и неприятно слышать, как унижается достоинство этого человека. Каганович, заметив мою реакцию, вдруг спросил: «Вы что, товарищ Маневич, никогда не работали со старыми большевиками?»

В тот день, когда мы вышли из кабинета председателя, я спросил Кузнецова, как он мог терпеть и ни слова не возразить на эту грубую брань, на что Александр Николаевич ответил: «Они все так ругаются, а возражать им нельзя. Я привык...».

Однажды и я вызвал раздражение и гнев могущественного «вождя». Этому предшествовал разговор с его заместителем Г.А. Пруденским. Герман Александрович был председателем научного совета комитета и, по поручению Кагановича, предложил мне быть по совместительству его заместителем. За это мне устанавливался оклад в 2000 рублей в месяц. Я ответил Пруденскому, что я очень занят как научный руководитель Института труда, и у меня нет свободного времени для работы в научном совете. Через несколько дней Пруденский вновь пригласил меня и сказал, что о моем отказе он доложил Кагановичу, и что Лазарь Моисеевич настаивает на моей работе в научном совете лишь номинально. Он знает о моей загруженности и предлагает мне получать эту сумму денег, фактически не работая в научном

совете. Я попросил передать Кагановичу, что категорически отказываюсь от такого предложения, я достаточно материально обеспечен, а получать деньги, не работая, считаю для себя недопустимым.

Пруденский передал мой вторичный отказ. Вот тогда Лазарь Моисеевич устроил мне разнос в первый и последний раз. Он кричал на меня, что я самонадеянный человек, что я родился в Белоруссии (сам он родился на Украине и гордился этим). При этом он ни разу не сказал, за что он меня ругает, а когда я его спросил об этом, последовал новый, еще больший взрыв возмущения.

Относился ко мне Каганович очень хорошо. Этим он оказывал мне плохую услугу — работники комитета, особенно члены коллегии, завидовали мне. Часто, когда Каганович приходил проводить заседание коллегии, он подходил ко мне, жал мне руку. Однажды на заседании он грубо обругал своего первого заместителя И.В. Горошкина, который был одновременно председателем Верховного совета РСФСР, за то что он не получил в Моссовете для меня ордер на квартиру. Каганович кричал: «Сегодня же идите к председателю Моссовета и получите ордер для профессора Маневича!» А в другой раз сообщил, что он всю ночь читал книгу Маневича о заработной плате и потребовал, чтобы все члены коллегии прочли эту книгу и сдали автору экзамен по ней.

Однажды Каганович пригласил к себе своего заместителя Курского, ответственного редактора журнала Кузнецова и меня. Он был в хорошем настроении. Не помню, в какой связи он сказал: «Маркс в «Капитале» об этом писал так», — и привел какое-то высказывание основоположника, но, тут же переспросил: «Я правильно цитировал Маркса?» Курский и Кузнецов тут же подтвердили, что Маркс сказал именно так, а я возразил, что ничего подобного Маркс никогда не писал. На это Каганович миролюбиво ответил: «Я верю Маневичу, откуда мне знать, что писал Маркс. Вы знаете, я-таки «Капитал» никогда не изучал. «Капитал» изучал мой старший брат Михаил Моисеевич. К нему ходила молодая революционерка,

и она объясняла брату содержание «Капитала», и я иногда слушал эти объяснения. Она была красивая, хотя хроменькая, и, кажется, нравилась брату. Но она, глупая, вышла за эсера. Потом через много лет, когда я стал большим человеком, ко мне пришла эта учителька брата. Она пришла с просьбой освободить из тюрьмы ее мужа, эсера. Его арестовала ГПУ. Но помочь я ей не смог, ее мужа, конечно, уже расстреляли».

В тот или другой раз Каганович вдруг стал топтать ногами по полу и радостно кричать: «Уже давно нет в живых ни Троцкого, ни Зиновьева, ни Бухарина, а я живу!»

В конце февраля 1956 года на XX съезде партии на закрытом заседании со своим знаменитым докладом выступил Н.С. Хрущёв. Он первый государственный деятель, рискнувший приподнять плотный занавес над кремлевским властелином, лежавшем рядом с создателем большевистской партии и Советского государства. Страна и весь мир узнали о некоторой, хотя и незначительной, части из многолетних уголовных преступлений этого непревзойденного тирана и злодея. Но и то, что рассказал Никита Хрущёв потрясло партию, страну, мир. Этот рассказ оказался первой миной, подорвавшей и покачнувшей систему. Элита большевистской партии, государства, армии, карательных органов, а также руководители так называемых братских партий не могли простить Хрущёву этот доклад, и не простила. Первый заговор против Хрущёва в 1957 году провалился, и заговорщики были выброшены из руководства. Хрущёв получил возможность руководить страной 10 лет. Новый дворцовый переворот удался, к власти вновь пришли сталинисты.

За десятилетие, несмотря на большое сопротивление системы, Н.С. Хрущёву многое удалось сделать для страны, для ее народа.

Вот краткий перечень добрых дел Никиты Сергеевича:

- освободил из лагерей, тюрем, ссылки миллионы людей, снял с них судимость, реабилитировал;
- вернул из ссылки сосланные народы (правда, не все);

- впервые развернул огромное строительство жилых домов с малогабаритными отдельными семейными квартирами;
- ввел новый закон о пенсиях — отныне пенсии стали получать десятки миллионов людей, и они впервые обеспечивали хотя бы и скромное, но независимое существование стариков;
- сократил рабочую неделю;
- начал реформу заработной платы и установил ее минимальные размеры;
- колхозникам выдал паспорта, и они получили право переезжать в города и в другие районы страны;
- повысил закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию;
- увеличил доходы колхозников;
- начал некоторую либерализацию общества;
- заметно ограничил власть и вседозволенность правоохранительных органов, люди стали меньше бояться арестов, репрессий.

Конечно, несмотря на эти и некоторые другие преобразования, власть системы еще долгие годы оставалась в основном такой, какой ее создали Ленин, и особенно Сталин. Но дышалось в стране легче.

В 1956 году стали возвращаться домой из лагерей получившие свободу миллионы доживших до нее. Вот что пишет об этих людях писатель Е. Носов: «И появились на станциях и в поездах уцелевшие и отпущенные узники — с лагерной свинцовой сединой, запавшими, поблеклыми глазами, задышлевые, с подшаркивающим шагом, превратившиеся в стариков, молчаливо, неразговорчиво пробирались они к своим домам, к таким же постаревшим, померкшим женам, к взрослым и неузнающим детям, к отвыкшей, отчуждившейся семье, вернее, к тому, что от нее осталось, ибо лучшие годы прошли по разные стороны разлучившей их проволоки. Многие из вернувшихся вскоре умерли: не смогли адаптироваться, не вынесли этого глотка свободы, как не выно-

сят резкого всплытия наверх водолазы, долго пребывавшие на дне.

Возвращались по домам целые народы, некогда попавшие в немилость, — балкарцы, чеченцы, калмыки, изгнанные из отчих мест до последнего человека. С содроганием вспоминали они насквозь продуваемые товарники, увозившие в ссылку. Люди ехали стоя, сплошным комом сгрудившихся тел, и только совсем ослабевшие сползали и опускались на грязный ледяной пол. Иногда, в безлюдных местах, товарники останавливали, чтобы вынести из вагонов трупы и закопать их в снег...». (Е. Носов «Кострома не Айова» в книге «Никита Сергеевич Хрущёв». Материалы к биографии. М. 1989. С. 98).

В один из летних дней 1956 года ко мне пришел выпущенный из лагеря доходяга, мой старший сослуживец по дивизии народного ополчения, поэт и журналист, редактор моей книги «От Сталинграда до Вены» Илья Аргинский. Он приехал ко мне нелегально, ему не разрешалось жить в Москве и других больших городах. К своей семье в Москве он боялся идти. Из всех своих друзей и знакомых он выбрал меня. Илья жил у нас несколько недель. Он подробно рассказал о своем аресте, о жизни в лагерях. От него я узнал и о том, что в одном из лагерей находится его дочь Ирэн, которую арестовали в школе за участие в подпольной комсомольской организации «Ленинцев».

Илья, честно и мужественно прослуживший в нашей добровольческой дивизии, в газете «Красное знамя» 4 гвардейской армии, был арестован через несколько лет после окончания войны по доносу какого-то подонка, работника крымской курортной газеты. Донос этот был написан еще в 1937 году. Солдаты и офицеры 77 гвардейской дивизии еще многие годы пели гимн дивизии, написанный Аргинским и Берёзко, а его автор в это время копал мерзлую землю Колымы. Через некоторое время Илья Владимирович был полностью реабилитирован и смог легально вернуться в Москву, к своей семье. Но недолго он пользовался свободой, через пять

лет он умер, оставив больную жену и почти слепую дочь с маленькой внучкой.

Я выполнил задание Л.М. Кагановича и создал при Госкомитете Научно-исследовательский институт труда (НИИ труда). Институту предоставили здание школы по улице Чкалова, возле Курского вокзала. Лисицын пригласил на должность заместителя директора по хозяйственным делам Сагидова, своего знакомого по авиационной промышленности, опытного хозяйственника с большими связями. Здание было очень быстро отремонтировано.

Я начал приглашать знакомых научных работников из Института экономики, из других экономических институтов, моих бывших аспирантов и студентов из ВШПД и других организаций, в которых работали «трудовики». В институт приходили научные и практические работники, в том числе и вернувшиеся из лагерей и ссылки. Некоторых из них я знал по литературе 20–30-х годов. Подбор кадров был поручен нам с директором. Договорились (а может быть, это было нам указано сверху), что оформлять работников можно лишь с согласия нас обоих, каждый имел право «вето». Этим правом часто пользовался В.Н. Лисицын, особенно если речь шла о зачислении еврея или человека, отсидевшего в сталинских лагерях. В свою очередь, я не давал согласия на прием на должности старших научных сотрудников людей, если их стаж научной работы был мал или если у них не было опубликованных научных работ. Так, я помню, что не принял на работу старшим научным сотрудником молодого кандидата наук П.Г. Бунича, а также В.Г. Костакова, Лазуткина и некоторых других. Я старался принимать на работу квалифицированных работников, в том числе вернувшихся из Гулага. Мне удавалось зачислить их в штат, когда Лисицын уезжал, и я оставался выполнять обязанности директора.

Как я узнал через много лет, слух о том, что я принимаю на работу и тех, кого в других институтах не принимали, то есть вернувшихся из тюрем и лагерей, оказывается,

пронесся по Москве. Они потянулись ко мне. Об этом рассказал на моем пятидесятилетнем юбилее Николай Степанович Ткачук. О нем позже хорошо написал С.С. Смирнов. Этот человек, как и многие другие, раненым попал в плен к немцам. Потом ему удалось бежать, участвовать в сопротивлении во Франции и Италии. Он отличился в боях с оккупантами. Вернулся больным. Никто нигде его беспартийного, бывшего в плену, не хотел брать на работу. «Мне сказали: иди к Маневичу. Он тебя обязательно примет», – говорил Ткачук. И, действительно, он пришел. К счастью, Лисицын был в отпуске, и я быстро зачислил его научным сотрудником. В свою очередь, моим отпуском пользовался Лисицин. Таким образом, в институте образовались две группы сотрудников.

Институт был создан. В нем была хорошая библиотека. Завязались необходимые связи с министерствами и предприятиями. В институте выходили сборники «Вопросы труда» под моей редакцией, а также бюллетени с официальными материалами по труду и заработной плате, в которых печатались исследования сотрудников. Бюллетени выходили под редакцией Лисицына. Мы посылали в комитет доклады и записки о необходимости реформы, выполняли поручения председателя и его заместителей, подготовили много тарифно-квалификационных справочников для различных отраслей народного хозяйства, устанавливали научные связи с институтами труда в других странах. Институт участвовал в работе журнала «Социалистический труд», членом редколлегии которого был и я.

В разгаре этой работы по организации Института труда мне стало известно от Кагановича, что Политбюро приняло решение об упразднении Госкомтруда. Такое решение провел Хрущёв по просьбе Кагановича, который хотел, видимо, освободиться от комитета, ибо ничего хорошего нельзя было ждать, – пенсии были низкие, в стране не обеспечивался прожиточный минимум, сложился огромный разрыв в реальных доходах между элитой и беднотой, он достиг 100–150 раз.

Все это, как правильно понял Каганович, ничего хорошего не сулило ни ему, ни комитету.

О настроениях председателя комитета можно судить по следующему нашему разговору. Однажды, по приглашению Кагановича, я пришел к нему поздно вечером в его огромный кабинет в Кремле. На его двери висела роскошная доска: «Л.М. Каганович. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР». Лазарь Моисеевич усадил меня в мягкое кресло. Он вел долгий разговор по телефону, давал указания министру путей сообщения. Потом продолжил нашу беседу: «Я прочел ваши предложения. Вы правы. Действительно именно так кардинально следует реорганизовать материальное стимулирование руководящих и инженерно-технических работников в стране, как вы предлагаете». Но и Каганович сделал длительную паузу и показал на потолок: «Они на это не пойдут!» Очень он тогда удивил меня. Он, Каганович, всемогущий руководитель, член Политбюро, первый заместитель Председателя Совета министров, и такое неожиданное заявление. В связи с ликвидацией Государственного комитета Каганович мне сказал, что Институт труда отныне будет при ВЦСПС, и что он назначает меня его директором.

Я решил сорвать этот план, ибо считал, что стране нужен Госкомтруд — он многое может и должен сделать: отменить сталинские драконовские законы о запрещении перехода рабочих и служащих с одного предприятия на другое; разработать и ввести новый Кодекс законов о труде; осуществить реформу заработной платы. Поэтому я обратился к секретарю ЦК партии Д.Т. Шепилову. Дмитрий Трофимович меня выслушал, согласился с моим мнением и тут же пошел к Н.С. Хрущёву. Постановление Политбюро о ликвидации Госкомтруда было отменено. А так как Каганович не хотел больше возглавлять этот комитет, председателем назначили малоизвестного члена ЦК Волкова. Директором института остался Лисицын, а я его заместителем.

24 июля 1957 года, когда я проводил заседание ученого совета Института труда, в моем кабинете раздался

телефонный звонок, я услышал радостную весть о рождении нашей дочери. Мы назвали ее Инной. Она с детских лет мечтала стать учительницей и стала ею, успешно закончив педагогическое училище и Институт иностранных языков.

В июле 1957 года произошел четвертый после смерти Сталина дворцовый переворот. На этот раз в результате неудавшегося заговора против Н.С. Хрущёва. Была снята со всех постов основная когорта сталинских наследников-правителей: Молотов, Маленков, Каганович, Булганин, Ворошилов, Первухин, Сабуров, а также и «примкнувший к ним Шепилов». Тем самым Хрущёв сорвал попытку реставрировать господство сталинистов и сталинских методов руководства страной.

Я был рад такому результату внутренней борьбы. Вместе с тем мне было досадно, что среди этой антипартийной группы оказался мой однополчанин и друг Д.Т. Шелилов. Он вскоре попал в больницу. Все его приятели по партии и по армии, как это было принято в таких случаях, отвернулись от него. Я пошел к нему в больницу. Я не утешал его, а спросил: «Как это вы могли оказаться с ними, с этими кровавыми собаками? На вас ведь нет крови невинных советских людей!» Дмитрий Трофимович что-то говорил в свое оправдание, вроде того, что он не мог больше терпеть издевательства Хрущёва над советской интеллигенцией — над писателями, художниками, музыкантами, и что Хрущёв якобы создавал новый культ личности. Все это было неубедительно и не оправдывало выступление Шепилова против Хрущёва, его участие в заговоре вместе со сталинистами. Я об этом сказал тогда и говорил всегда Дмитрию Трофимовичу. Он был морально убит, с обидой рассказывал, что от него отвернулись самые близкие друзья, и среди них его многолетний друг и однокашник Б.Н. Пономарёв.

Мы с Дмитрием Трофимовичем продолжали встречаться на протяжении всех лет его падения и изгнания. Как-то,

когда мы выпивали с ним у меня дома, я спросил: «Дмитрий Трофимович, а если бы все, что случилось с вами, произошло со мной, вы пришли бы ко мне в гости?» Он искренне ответил: «Нет, Ефим, порвал бы с тобой».

Я продолжал работать в Институте труда до тех пор, пока не почувствовал, что меня затягивает эта большая административная деятельность. Писать удавалось мало, а приходилось непрерывно заседать в институте, в Госкомтруде, в Госплане и др. На руководство институтом уходило все мое время. Кроме того, я, к своему сожалению, заметил, что мне все больше и больше нравится моя жизнь начальника. Меня обслуживали три автомашины, я получал много денег, был ответственным редактором сборников, членом редколлегии всесоюзного журнала, председательствовал на ученых советах, представлял институт и т.д. и т.п. Я вдруг понял, что если я останусь здесь, я больше ничего не напишу, не издам ни одной своей новой книги. А между тем, у меня накопилось немало идей, мыслей, предложений. Поэтому я решил, что пора вернуться назад, в Академию наук.

Я написал заявление, приложил к нему запрос дирекции Института экономики и пошел к председателю комитета Волкову. Я ему сказал, что меня пригласили для того, чтобы я организовал научно-исследовательский институт труда. Институт создан. Я поручение выполнил, а сейчас я хочу вернуться в Академию наук и написать книгу. Однако мои настойчивые просьбы остались без результата, Волков отказался меня отпустить. Так тянулось около двух месяцев. Наконец, в январе 1958 года я Волкова уговорил. На него подействовала моя настойчивая просьба, и особенно мое намерение перейти с руководящей работы на скромную должность старшего научного сотрудника. Это было так. Моя прежняя должность, которую я занимал в Институте экономики АН СССР до перехода в Институт труда, ведущего сектором, была занята, и я стал старшим научным сотрудником.

СНОВА В АКАДЕМИИ НАУК (Теория и практика)

Я начал активно собирать материалы и составлять планы новой книги. На этот раз объектом моего исследования должны были стать не только вопросы организации заработной платы, чему главным образом были посвящены мои прежние работы, а проблемы труда в целом.

Я мечтал тогда написать, насколько это было возможно в сложившихся условиях, честную, правдивую книгу. В ней я хотел раскритиковать лживые теории и вскрыть причины снижающейся эффективности труда миллионов людей, показать, как преувеличиваются так называемые «моральные» факторы, стимулы и «социалистическое соревнование» и недооценивается личная материальная заинтересованность людей. Я хотел изучить причины содержания заведомо лишних миллионов рабочих и служащих, и в этой связи сказать правду о скрытой безработице и ее последствиях; рассказать о получивших широчайшее распространение массовых приписках и о глубоких пороках планирования на всех уровнях хозяйствования.

Я тогда думал и надеялся, что публикация этой книги может сыграть положительную роль в решении назревших задач глубоких экономических перемен в стране, и прежде всего в повышении производительности труда и уровня жизни советского народа.

Издать такую книгу было очень трудно. Рукопись должна была пройти много инстанций: сектор, ученый совет института, рецензентов, издательство, редактора, ответственного редактора, заведующего отделом и главного редактора издательства, Главлит (государственного цензора), а иногда и отдел ЦК партии.

У меня сохранился график прохождения рукописи по всем этим инстанциям. Она читалась, редактировалась, возвращалась, несколько раз набивалась и вновь сокращалась, снова выбрасывали острые места. Нежелательных или «недо-

пустимых» высказываний набралось более четырех печатных листов.

В конце концов, после больших усилий, неоднократных обсуждений, в том числе и на самом высшем уровне — у председателя Государственного комитета по делам печати Михайлова, книга «Проблемы общественного труда в СССР» вышла в свет в издательстве «Экономика» ничтожным тиражом — 4000 экземпляров. Издали, несмотря на решительный протест главного редактора издательства Молдавана, который сказал мне: «Сколько вашу книгу ни сокращай, она все равно останется вредной, она вся вредная».

Книга была распродана за несколько дней. На нее отозвались положительными рецензиями несколько журналов. Особенно я был рад, когда получил мой любимый в то время журнал «Новый мир», который тогда еще редактировал Александр Твардовский. В нем я совершенно неожиданно прочел хвалебную рецензию незнакомого кандидата экономических наук Л. Абалкина. Положительные рецензии на эту книгу опубликовали журналы «Вопросы экономики», «Социалистический труд», «Экономические науки» и где-то еще, что было, конечно, приятно. Но вот книга появилась, и ничего не изменилось. Тоталитарная система продолжала скрипеть и катиться к хаосу, усиливался кризис в экономике и политике, а большинство советских людей продолжало верить потокам лжи. В ходе подготовки монографии я опубликовал несколько дискуссионных статей в журналах «Вопросы экономики» и «Вопросы философии», а также в коллективных сборниках Института экономики.

Сейчас, когда я думаю о том, как и что рассказать читателю о моих работах тех уже далеких лет, меня волнуют сомнения, и мне трудно ответить на вопрос, будет ли интересно моему современному читателю узнать о том времени, которое, кажется мне, было совсем недавно, но которое уже «сметено могучим ураганом».

Но, тем не менее, надо все-таки, как мне кажется, рассказать о некоторых наиболее важных и острых проблемах,

которые занимали тогда меня и тех, кто жил и работал в то недалекое время. Кроме того, эти дискуссионные вопросы, вернее, подход к их разрешению имели и имеют немалое значение в политике и экономике Советского Союза и России.

Поэтому я решил в этой главе своих воспоминаний совсем кратко остановиться на следующих проблемах, которые были подняты в моих дискуссионных работах: чем должен определяться уровень заработной платы; о секретных пакетах, пайках и льготах; сущность моих споров с академиком Струмилиным о коммунизме; правда о скрытой безработице в СССР.

Чем определяется уровень заработной платы

Одной из таких политически острых проблем, занимавших меня тогда, по которой удалось опубликовать статью, была проблема, связанная с изучением объективных, то есть независимых от воли и сознания людей, факторов, лежащих в основе определения уровня заработной платы рабочих и служащих и доходов колхозников.

На протяжении всех лет Советской власти как огромное преимущество перед капитализмом в общественных науках, и в том числе в книгах и учебниках по политической экономии, утверждалось, что при социализме не действует закон стоимости рабочей силы, ибо владельцы рабочей силы свободные граждане, и они же владеют средствами производства. Поэтому «у нас» рабочая сила не товар, она не может ни продаваться, ни покупаться. Это «у них», в эксплуататорском обществе, действует объективный закон купли и продажи рабочей силы. Поэтому в основе их заработной платы лежит стоимость этого товара. И стоимость рабочей силы, как всякого товара, зависит от необходимых на его воспроизводство затрат, а это значит, что в нее входят средства, необходимые для удовлетворения потребностей рабочего и его семьи в пище, жилище, одежде и оплате услуг, связанных

с удовлетворением культурных потребностей и запросов. Но все это относится к трудящимся, живущим при капитализме. Что же касается социалистического общества, то здесь все «красивее и романтичнее». Здесь живет «свободный» человек, а не «товар», поэтому уровень заработной платы рабочих и служащих, а также доходы колхозников определяются, якобы, только в плановом порядке государством. Он, этот уровень, зависит от развития производительных сил в стране и от конкретных политических и экономических задач, решаемых государством на том или ином этапе строительства социализма и коммунизма. Следовательно, при социализме не действуют объективные законы, а осуществляется воля партии, государства.

Какова же эта «воля» партии и государства, многие поколения советских людей хорошо поняли: реальная заработная плата рабочих и служащих из года в год падала, а у руководителей повышалась. Повышалась за счет ее номинальной части и за счет большого количества различных натуральных благ. Такое теоретическое обоснование было в те годы общепринято. Я должен признаться, что тоже повинен в распространении такого обоснования преимуществ социалистического распределения общественного продукта. Это я отмечал в своих книгах, которые были опубликованы в 1947–1951 гг.

В те годы в Советском Союзе никто не пытался даже намекнуть на то, что и в нашем обществе действует закон стоимости товара, рабочая сила, и что уровень заработной платы и доходы тоже определяются необходимостью воспроизводства рабочей силы. Такие утверждения означали бы признание возможности эксплуатации и в условиях социализма, а это, в свою очередь, означало бы, что наносится удар по существовавшей лжи, которая пропагандировалась и повторялась не только каждый день, но и каждый час, и каждую минуту! Понятно, что такой подход был бы расценен как самая злостная клевета на социалистический строй. Понимая все это, я тогда решил, что надо подойти к этой

проблеме со всей осторожностью, и пусть со многими оговорками, но все-таки сказать по этому поводу правдивое слово.

В статье «Актуальные вопросы теории и организации заработной платы в СССР», которая была опубликована в сборнике «Проблемы политической экономии социализма» в 1959 году, я впервые в советской печати написал: «Объективным фактором, определяющим уровень заработной платы, является необходимость обеспечения рабочих и служащих средствами существования в объеме, потребном для воспроизводства рабочей силы». Сформулировав такое смелое для того времени определение, в той же статье я выдвинул «всеобщий закон возмещения затрат рабочей силы». Сущность этого закона, писал я, заключается в том, что «в условиях социализма (впрочем, как и в условиях других общественно-экономических формаций) действует объективная необходимость воспроизводства рабочей силы, восстановления затраченных в процессе производства физических и умственных сил работников, необходимость обеспечения рабочих, служащих, колхозников и их семей средствами существования, материальными и духовными благами. Без этого невозможен процесс производства и воспроизводства, как он был бы невозможен без воспроизводства потребленных средств производства. Следовательно, закон возмещения затрат рабочей силы, как и другие экономические законы, есть закон объективный, то есть независимый от воли и сознания людей».

Затем в статье говорилось, что в отличие от возмещения вещественных элементов производства закон возмещения затрат рабочей силы, связанный с воспроизводством главной производительной силы — человека, трудящегося, требует не только полного воспроизводства, но и учета исторического фактора. А это значит, что закон возмещения затрат рабочей силы требует и обеспечения исторически сложившегося материального и культурного уровня трудящегося и его семьи, и удовлетворения повышающихся потребностей. В этой же связи тогда впервые (после всеми забытого перво-

го Кодекса законов о труде 1918 г.) мною было внесено предложение восстановить понятие прожиточного минимума.

Каждый мой читатель, как я думал, понимал, что в реальной действительности фактическая заработная плата многочисленных слоев трудящихся, занятых на государственных предприятиях и в учреждениях, как в годы Отечественной войны, так и после нее, была намного ниже того уровня, который обеспечивал бы прожиточный минимум, и гораздо ниже того уровня, который обеспечивал бы возмещение затрат рабочей силы. В еще худшем положении находились трудящиеся, занятые в колхозах, где господствовали наихудшие нормы феодальных отношений. Беспаспортные колхозники, лишённые элементарных прав граждан, не могли уйти из деревни и, таким образом, избавиться от своей феодальной зависимости и повинности трудиться почти без всякой оплаты в колхозе. Главным источником поддержания жизни для них оставался дополнительный тяжелый ручной труд в личном подсобном хозяйстве. Здесь государство никак не считалось ни с прожиточным минимумом, ни с законом возмещения затрат рабочей силы.

Наряду с этими видами труда (на госкапиталистических предприятиях и в феодальной деревне) в СССР существовал еще более страшный — дармовой принудительный труд заключенных в сталинских лагерях, в которых одновременно находились 10–13 миллионов человек. Здесь говорить о «прожиточном минимуме» или о «законе возмещения затрат» вовсе не приходилось, такие понятия не относятся к рабскому труду. О том, как жестоко и бесчеловечно эксплуатировался труд рабов в ГУЛАГе, всему миру рассказали А.И. Солженицын, В. Гроссман, Варлам Шаламов.

Появление в печати моей статьи о законе возмещения затрат рабочей силы в СССР вызвало большой отклик в экономической литературе тех лет. Она, как я и ожидал, не осталась без внимания многих сверхбдительных ортодоксов. Они встретили статью в штыки. Одним из первых авторов, выступивших против «закона возмещения затрат рабочей

силы», был бывший работник ЦК партии, а в момент публикации моей статьи — заведующий кафедрой политической экономии Академии общественных наук при ЦК КПСС И.И.Кузьминов. Им была организована дискуссия по этой проблеме, материалы которой вышли отдельной книгой.

Иван Иванович Кузьминов понял, какую опасность для официальной идеологии представляет это «отступление» от марксистско-ленинской идеологии. В своей статье, после ряда неубедительных аргументов, Кузьминов писал: «Какой вывод следует отсюда? Нам кажется, что единственно правильным является вывод о необходимости решительного отказа от закона возмещения затрат рабочей силы и связанного с ним «прожиточного минимума» как основного фактора регулирования оплаты труда при социализме».

Другой критик закона возмещения затрат рабочей силы С.П. Фигурнов верно почувствовал, что этот закон, по сути, ничем не отличается от закона стоимости рабочей силы: «Разница между обеспечением трудящихся при капитализме и социализме сводится, следовательно, к чисто количественным различиям». Конечно, Фигурнов был прав, но от такого рода обвинений мне приходилось спасаться утверждениями, что мой закон «ничего общего не имеет с законом стоимости рабочей силы», если не считать того, что и тот, и другой лежат в основе определения уровня заработной платы. Признаюсь, я, конечно, вынужден был лукавить, чтобы меня не выгнали с работы и не посадили.

Однако многие экономисты страны (Москвы, Таллинна, Вильнюса, Риги, Воронежа, Новосибирска и др.) поддержали и солидаризировались со мной по проблеме закона возмещения затрат рабочей силы и прожиточного минимума в условиях социалистической экономики.

Но не надо думать, что формулирование закона возмещения затрат и восстановление понятия прожиточного минимума имели лишь абстрактно-теоретическое значение. Они несли вполне конкретную практическую нагрузку. Реформа заработной платы, и прежде всего необходимость

повышения ее минимальных размеров, имела большое значение, так как огромное число рабочих и служащих жили не на пороге бедности, а просто в бедности.

В 1957 году была образована комиссия по установлению минимальной заработной платы. Комиссию возглавил член Политбюро, председатель Госплана СССР Сабуров. От Госкомтруда в комиссию вошел я. Тогда впервые в нашей стране были повышены минимальные ставки заработной платы на 33%. Одновременно был повышен уровень заработной платы, необлагаемый налогами. С тех пор в СССР размеры минимальной заработной платы стали повышаться каждую пятилетку.

О секретных пакетах, пайках и льготах

Примерно в то же время я занялся исследованием фактической дифференциации заработной платы и доходов различных групп советского населения. Оказалось, что наряду с тем, что миллионы рабочих, колхозников и служащих получают ничтожные доходы, которые намного ниже физического прожиточного минимума, Сталин в течение многих лет устанавливал, причем негласно, оклады, премии и различного рода доплаты. С этих весьма значительных сумм, получаемых ответственными партийными, хозяйственными, военными, профсоюзными и некоторыми другими работниками в форме так называемых «пакетов», не взымали ни налогов, ни даже партийных и профсоюзных взносов. Об этих выплатах нельзя было не только писать, но и говорить.

Разрыв в фактической заработной плате, не считая того, что высокооплачиваемые работники пользовались многими натуральными благами, достигал, по моим расчетам (исходя из того, что до 1957 года фактическая минимальная заработная плата в промышленности составляла 22 рубля в месяц, а в других отраслях 15–17 рублей), 100–150 раз, а разрыв между доходами работников, получавших максимальную и среднюю заработную плату (тоже без учета натуральных

благ, которыми пользовались высокооплачиваемые работники) — примерно 50 раз.

Установлением столь высоких окладов и всякого рода выплат и услуг Сталин преследовал и добивался своих политических целей: он создал привилегированный слой людей, личные интересы которых находились в отрыве от интересов народа, слой, на который он мог опираться и беспрекословно осуществлять личную диктатуру. Так Сталин сочетал террор и страх с прямым подкупом элиты.

Эту систему в определенной мере, но не до конца, пытался разрушить Н.С. Хрущёв. Именно эта попытка стала одной из главных причин огромной ненависти бюрократического аппарата к нему. Эта же его деятельность, направленная против элиты, ее уровня жизни, стала причиной дружного заговора и потери власти Хрущёвым в 1964 году.

Когда я в своей книге «Проблемы общественного труда в СССР» пытался опубликовать эти расчеты, редакторы издательства не только сняли их из верстки, но вскоре разбросали весь набор книги. Опубликовать эти данные я смог только через 25 лет.

Мне лично удалось с большим трудом, после преодоления сопротивления многих чиновников, добиться, во-первых, постановки вопроса о необходимости установления минимальной заработной платы. Это было сделано, как я выше писал, когда по инициативе Госкомтруда впервые за годы Советской власти были установлены минимальные размеры заработной платы рабочих и служащих. Во-вторых, мне удалось добиться повышения пособия матерям-одиночкам. До того они получали смехотворное пособие — 5 рублей в месяц. Когда я в своем докладе, представленном ученому совету Института экономики, предложил повысить эти пособия и установить их на уровне алиментов, которые выплачивают родители, то есть 25% от их средней заработной платы, то директор института Е.И. Капустин, перебив меня, закричал: «Где взять на это деньги!» Я ему ответил: «Вычсть у таких, как мы с вами, Евгений Иванович!».

Для этой цели я решил использовать свои связи и знакомства. Пошел к первому заместителю председателя Госкомтруда Л.А. Костину. Леонида Алексеевича я знал многие годы. Мне удалось доказать ему крайнюю необходимость повышения пособия матерям-одиночкам. Костин это сделал, вместо 5 рублей они стали получать 20 рублей в месяц.

Обострение противоречий между господствующим слоем общества и народом, антагонизм между людьми, захватившими в свои руки власть и бессовестно использующих в своих личных интересах результаты труда миллионов поработанных сограждан, понимала лишь небольшая часть советской интеллигенции. Однако открыто высказать свое отношение к этим явлениям решались немногие, и те тут же попадали в лагеря, тюрьмы или психушки. Поэтому часто приходилось обращаться к языку Эзопа. Так, в моей брошюре «Труд умственный и труд физический», вышедшей в 1961 году, я писал якобы о положении интеллигенции при капитализме, надеясь, что меня поймут мои современники, живущие в СССР. Что речь идет именно о них: «Большая часть интеллигенции при капитализме видит глубокие противоречия между буржуазией и пролетариатом, она хорошо знает о несправедливости все растущих контрастов роскоши и нищеты, порождаемых капиталистическим строем, и понимает, что необходимо вести борьбу с этим социальным злом. Однако капиталисты, которые держат в своих руках власть и жизненные блага, подчиняют себе значительную часть интеллигенции и заставляют ее работать на себя и, мало того, быть идейным рупором буржуазии, идеологическим защитником капиталистического строя».

И далее я приводил в сноске следующую цитату из изданной еще в 1924 году брошюры А.В. Луначарского «Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем». Капитализм, как образно писал А.В. Луначарский, говорит интеллигенту: «Если ты откажешься от химер и будешь служить мне, то я награжу тебя богатством, всей славой, что есть на свете, вплоть до славы бессмертия. Если же ты не хочешь мириться

и идешь по пути революции, если в тебе взбунтовалось будущее общество... то я еще достаточно силен, чтобы пустить по миру твоих детей, чтобы не дать тебе возможности прокормить самого и разбить твоё личное счастье. Я уморю тебя в 30 лет, и твой прах отправлю на дешевое кладбище. И каждый интеллигент более остро или менее остро в известный период своей жизни стоит перед этим вопросом: либо с верхами жить, либо с низами, с народом. Если мы взглянем на внутреннюю картину жизни почти каждого рядового интеллигента, то мы увидим там разнообразные черты приспособленности. Мы увидим человека, который цинически заявляет, что «я знаю, где правда, но у меня не хватает мужества ее высказать», который себя, может быть, осуждает притворно или с покаянными слезами. Есть такой, который внутренне страшно терзается, и такой, который придумывает себе самообман, который заключил компромисс и имеет тысячи уверток...».

Когда я сейчас перепечатывал эту цитату, я вдруг подумал: а может быть, и Луначарский в 1924 году уже тоже был вынужден, как и я, лукавить и имел в виду интеллигенцию советской страны?

Моя дискуссия с академиком С.Г. Струмилиным о коммунизме

В связи с подготовкой новой программы КПСС, которая должна была быть принята на XXII съезде КПСС, в общественных институтах и журналах Академии наук, в высших учебных заведениях развернулась дискуссия о переходе к коммунизму. Руководитель партии и страны Н.С. Хрущёв был настроен весьма оптимистически и считал, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм. Вполне послушные ему экономисты, философы, юристы тут же поддержали эту «новую идею» и представили экономические расчеты и философское теоретическое обоснование. Все получалось прекрасно: экономика СССР будет развиваться и расцветать, обогнав «гниющие» страны капитализма, будет обеспечен

самый высокий уровень жизни в мире, осуществится принцип коммунизма «от каждого по способностям — каждому по потребностям».

Сейчас, вспоминая то время, я должен признаться, что при всем моем критическом отношении к этим расчетам и утопическим предположениям я, как и другие экономисты, считал тогда, что, конечно, в течение предстоящих 20 лет коммунизм у нас не будет построен, но что он когда-нибудь состоится, я верил. Ведь это было вековой мечтой и целью научной деятельности основоположников — Маркса и Энгельса и нескольких поколений их последователей в СССР и других странах мира. Должно же разумное человечество когда-нибудь построить справедливое общество, в котором не будет нищих, обездоленных, не будет обмана, бессмысленных и жестоких войн, преследований по национальному, расовому, классовому различию, не будет насилия, произвола, террора! За эти благородные цели боролись и погибали лучшие из лучших многих поколений людей. И как много уже отдано человеческих судеб на алтарь этой идеи: жертвы Гражданской войны, гибель десятков миллионов в годы Отечественной войны, миллионы репрессированных народов, населяющих Советский Союз! Не могли эти жертвы быть напрасными! В коммунизм я верил так же, как верили люди моего поколения. Конечно, были и неверующие, но таких я в своей жизни почти не встречал или встречал редко. В те дни, перед XXII съездом партии, на страницах толстых и тонких политических, экономических, философских, художественных журналов и газет публиковались статьи о социализме и коммунизме.

Однажды я получил напечатанную на гектографе брошюру академика С.Г. Струмилина и приглашение Отделения экономики и философии Академии наук СССР принять участие в обсуждении этого труда. Станислава Густавовича я всегда уважал. Я знал, что он заслуженный человек, старый социал-демократ, был меньшевиком, участник IV съезда партии, известный ученый-экономист, статистик, специалист в

области экономики труда и планирования. Кроме всего прочего, именно он поддержал меня, когда решался вопрос об издании моей первой книги. Он же помог мне найти первого оппонента при защите докторской диссертации. Но когда я внимательно прочел этот новый труд Станислава Густавовича, я был удивлен и обескуражен.

Я решил, что он не понимает своего места в науке — такую работу мог написать какой-либо рядовой советский ученый, но не он, С.Г. Струмилин! Брошюра, к счастью, еще не была издана, и я смогу предупредить ее издание. Примерно так я думал, когда пришел на то заседание. Вел заседание член-корреспондент, философ Петр Николаевич Федосеев. Он вскоре стал академиком и вице-президентом Академии наук. Кроме членов отделения на обсуждение доклада был приглашен еще один доктор наук — мой друг Яков Кронрод. Все выступавшие академики и члены-корреспонденты, а также Кронрод, полностью поддержали основные положения докладчика. Я получил слово в конце заседания. Я начал свою речь, как полагается, с добрых слов о том, что Струмилин один из немногих советских ученых, который посвятил большое количество исследований мало разработанным и весьма спорным проблемам и тем самым дал серьезный толчок к творческой дискуссии. Затем я перешел к критике основных положений. Они представлялись мне не только спорными, но и неправильными, устаревшими. В брошюре Струмилин излагал свою точку зрения о судьбах разделения труда, семьи, организации труда и быта коммунаров.

О разделении труда С.Г. Струмилин рассуждал точь-в-точь, как об этом писали утописты-социалисты. Так, Струмилин, как и его предшественники, считал, что при коммунизме будут ликвидированы профессии и специальности, разделение труда между людьми будет заменено разделением труда между машинами, и вообще при коммунизме не будет разделения труда ни в сфере материального производства, ни в науке, ни в искусстве. Вслед за Лениным он считал, что общество будет готовить таких людей, которые «умеют

все делать» в любой сфере труда. Я возражал Струмилину, что такое предположение неверно. Наоборот, чтобы член общества мог с пользой для народа и с подлинным творческим интересом трудиться, он должен быть не всезнайкой, а всесторонне образованным человеком и специалистом в какой-либо области производства. Преувеличенное представление о всемогуществе автоматической системы машин ведет к умалению роли человека—творца этих машин. Кроме того, не надо забывать, что сами машины производятся, управляются и непрерывно совершенствуются людьми. Так, говорил я, обстоит дело в сфере материального производства. А как же представляет себе Станислав Густавович разделение труда в науке и искусстве?

Академик Струмилин отвечает на этот вопрос так: «Каждый сможет овладеть в порядке совмещения не одной, а даже несколькими видами интеллектуальной жизнедеятельности». Особенно большие надежды он возлагал на коллективные методы работы ученых, писателей, композиторов, художников: «В науке и искусстве наиболее широкий простор доньше представлялся индивидуальному творчеству людей. Но сама жизнь сплачивает их в творческие коллективы: научные школы, институты, союзы писателей, композиторов, архитекторов... В отрыве от своего коллектива каждый отдельный член его теряет всю свою общественную полезность». По этому поводу я говорил, что вряд ли кто-то может себе представить, чтобы повести и романы создавал Союз писателей, музыку сочинял Союз композиторов, а картины писал Союз художников.

Известно, что в наш век бурного развития науки и техники становится все труднее овладевать накопленными знаниями. Поэтому каждый научный работник старается ограничить сферу своего исследования с тем, чтобы внести что-либо новое в развитие науки. Мы являемся свидетелями процесса выделения, или, как принято говорить, отпочкования, все новых и новых отраслей знания. Так, современная физика включает в себя молекулярную, атомную, электрон-

ную, ядерную, физику элементарных частиц. В основном, в течение настоящего столетия в пограничных отраслях физики образовался ряд новых научных дисциплин: астрофизика, геофизика, биофизика, агрофизика, химическая физика, теплофизика, электрофизика, радиофизика, металлофизика, прикладная оптика, электроакустика и другие. Аналогичные процессы происходят и в других науках.

Только для того, чтобы ознакомиться с тем, что уже сделано учеными различных стран даже по одной узкой проблеме (не говоря уже о необходимости знать о достижениях смежных наук), надо много времени и сил приложить для изучения иностранных языков и для критического анализа многочисленных источников.

Сейчас возлагаются большие надежды на помощь кибернетики в использовании информации, но и она не позволяет человеку легко и просто менять свою профессию и быть сегодня ученым в области химии, а завтра медицины, экономики, биологии, этнографии, архитектуры, истории и др. Понятно, что и в искусстве также невозможна ликвидация разделения труда и специализации, ибо искусство, как писал Л.Н. Толстой, результат сочетания двух элементов: таланта и огромного труда. От каждого человека во все времена требовалось много усилий, терпения, а главное, упорного труда, чтобы стать признанным писателем, художником, композитором, скульптором, артистом. Одним из вечных противоречий человеческого общества было и останется всегда противоречие между прогрессивно растущими потребностями и стремлениями в овладении и использовании огромных достижений человечества в области науки, искусства и временем, отпущенным природой одной человеческой жизни. Следовательно, и в искусстве, как и в науке, останутся профессии и специальности.

Второй проблемой, которой был посвящен доклад Струмилина, была проблема семьи, вернее, воспитания детей. Докладчик пытался убедить своих слушателей и читателей в том, что в счастливом будущем обществе детей следует ото-

рвать от семьи, от родителей. В брошюре говорится: «Отдавая общественным формам воспитания преимущества перед всеми иными, нам предстоит в ближайшие годы неустанно расширять эти формы в таких темпах, чтобы через 15–20 лет сделать общедоступными от колыбели до аттестата зрелости — всему населению страны. Каждый советский гражданин, уже выходя из родильного дома, получит направление в детские ясли, из них в детский сад с круглосуточным содержанием или в детский дом, затем в школу-интернат, а из нее уже отправится с путевкой в самостоятельную жизнь...». Родителям Струмилин разрешает лишь изредка заглядывать в детские помещения «столько раз, сколько это предусмотрено установленным режимом».

Чем же объясняет Станислав Густавович свой план — полного общественного воспитания детей и изыятия их у родителей? Оказывается тем, что современные родители, по его мнению, «плохие воспитатели, одни из них безудержно балуют своих детей и тем самым вдребезги портят их. Большинство матерей, одержимые материнским эгоизмом, оберегают ребенка и от товарищей, и от зноя, и от холода, и от свежего воздуха, пичкают его сладостями, одевают игрушками и безделушками, стараются не утруждать лишними умственными занятиями. В результате такого воспитания вырастают большие себялюбцы, вззирающие сверху вниз на все окружающее, а по сути жалкие стилиаги, ни к чему не пригодные лоботрясы, которые не находят себе места в советской действительности».

Кроме этих детей, Струмилин отмечает другую категорию — это «дети матерей-одиночек», те, которых мы называем «безотцовщиной». Следовательно, необходимость исключительно общественного воспитания от рождения до аттестата зрелости Струмилин объясняет низким культурным уровнем родителей, бесконечно балующих детей, и родителей, оставляющих своих детей без присмотра, на произвол судьбы. Не говоря уже о том, что он сгущает краски, ибо на самом деле число тех и других родителей невелико, и

большинство детей, конечно, вырастает хорошими людьми, любящими труд и уважающими установленные обществом порядки. Можно подумать, что сами родители не изменяются по мере развития всего общества и никогда не поймут, как им следует воспитывать своих детей.

Академик, по моему мнению, неправ еще и потому, что его предложения, заимствованные у социалистов-утопистов, ведут к лишению и родителей, и детей огромной человеческой радости. Развитие общественных форм воспитания не должно приводить к обезличиванию родителей, к превращению лучшей поры жизни каждого человека — детства, в казарму.

И, наконец, третья проблема обсуждаемой рукописи была посвящена организации самого быта, жизни в коммунистическом обществе, и в этом разделе брошюры Станислав Густавович, к сожалению, не ушел от старых утопий социалистов-утопистов.

При коммунизме, писал Струмилин, коммунары будут жить в специальных дворцах-коммунах. Эти коммуны будут представлять собой «систему самоуправляемых ассоциаций, трудовых и бытовых коммун», в которых несколько сот людей (а иногда и 2–3 тысячи) объединены общим трудом в одной мастерской и общей жизнью в дворцах-коммунах. Но ведь представления утопистов определялись уровнем развития производительных сил и теми условиями, в которых им приходилось жить и творить. Вот почему при описании труда в будущем обществе утописты придавали большое значение сельскохозяйственному труду и ремеслу, а их представления о будущей организации труда отражают его организацию в условиях простой кооперации или мануфактуры. В соответствии с такими представлениями об общем совместном труде утописты мыслили и общий быт в трудовых коммунах с максимальной степенью его обобществления.

Однако с тех пор прошло очень много времени. Трудно даже сопоставить степень развития науки и техники, производительных сил, культурный уровень нашей эпохи и того

времени, когда жили утописты. Едва ли можно полностью себе представить последствия современной технической революции для дальнейшего развития человечества.

Но, несмотря на это, Струмилин представлял себе коммунизм в виде каких-то замкнутых коммун, расположенных в микрорайонах: «Типичная бытовая коммуна будет вмещать, включая детей, стариков и обслуживающий ее персонал, не свыше двух—двух с половиной тысяч душ... В таком городе, площадью до трех квадратных километров, любое расстояние от окраины до центра можно пройти максимум за десять минут. Значит, здесь не потребуется ни метро, ни троллейбусов». Тут же, в этих микрорайонах, «дворцы-коммуны окружают центральное производственное предприятие, где работают все жители этой коммуны».

Спрашивается, как можно, чтобы все жители коммуны работали именно на предприятии, расположенном в дачном микрорайоне? Разве можно подобрать столько людей, интересы которых так совпадали бы? Скорее всего, в зависимости от своих способностей и стремлений многие, если не большинство, будут работать в одном месте, а жить в другом. Люди будут пользоваться всеми видами транспорта, а не только ходить пешком.

Видимо, говорил я, следует пересмотреть представления о «трудовых и бытовых коммунах и дворцах-коммунах» как об архаических понятиях. В наш век изменились представления о расстояниях, о связях между странами и людьми, меняются масштабы коллективов, районов, стран. Человек активно проникает в космос, и уже более чем странно звучат планы о создании малонаселенных дворцов, коммун, насчитывающих не более 2—2,5 тысяч душ, совместно живущих, столующихся и играющих в городки и футбол.

Председательствующий на этом заседании П.Н. Федосеев поддержал все основные положения Струмилинина и пожелал быстрого издания этой новаторской работы академика.

По дороге домой после этого заседания я спросил Кронрода, как же он мог хвалить сей утопический бред, как он

мог не поддержать меня? На это мой друг Яков ответил: «Я, конечно, согласен с тобой, но ведь докладчик академик Струмилин, я не хотел его огорчать».

На самом же деле предстояли выборы новых членов-корреспондентов. Ни меня, ни Якова опять не избрали, но зато Петр Николаевич Федосеев стал академиком и вскоре вице-президентом Академии наук СССР.

С.Г. Струмилин очень обиделся на меня и перешел в наступление. После того, как Отделение экономики и философии одобрило рукопись, Станислав Густавович опубликовал ее без каких-либо поправок в июльском номере журнала «Новый мир» за 1960 год. С критикой позиции академика я выступил в журнале «Вопросы философии» (1961 год).

Я думал, что на этом кончится наша полемика. Но я ошибся. Когда в октябре 1963 года в Президиуме АН обсуждалась рукопись коллективной книги «Экономические закономерности перерастания социализма в коммунизм», неожиданно на это заседание пришел академик Струмилин и попросил слово. Оно полностью было посвящено моей статье, опубликованной в «Вопросах философии» и защите своих позиций о судьбах разделения труда. Вице-президент академик Федосеев после речи Струмилинина сказал, что профессору Маневичу следует учесть эту критику при подготовке своих глав в коллективном труде. Станислав Густавович, довольный своим выступлением, ушел.

Но и на этом его «борьба» за чистоту марксистско-ленинского учения о коммунизме не ограничилась. Он принес текст своего выступления в редакцию журнала «Вопросы экономики». Эта статья под названием «О разделении труда при коммунизме» была опубликована в ноябре 1963 года. Статья содержала политический донос на меня. Академик, ссылаясь на ряд высказываний Маркса, Энгельса и Ленина, которые подтверждали его точку зрения о том, что при коммунизме исчезнет разделение труда, не будет ни специальностей, ни профессий и что все люди будут «уметь все делать». После всех этих цитат Струмилин сообщает:

«Но вот перед нами статья Е.Л. Маневича, опубликованная в журнале «Вопросы философии». В ней автор касается вопроса о разделении труда при коммунизме. К сожалению, в статье не нашлось места ни одному из приведенных выше указаний Маркса, Энгельса и Ленина. Это тем более поразительно, что проф. Маневича нельзя отнести к числу тех, кто не знает того, о чем он пишет. Дело, однако, на наш взгляд, гораздо хуже. Тов. Маневич, несомненно, знаком со всеми положениями наших учителей, но он, видимо, не согласен с некоторыми из них и предпочитает прямому спору с классиками менее обязывающие умолчания и обтекаемые формулировки. Автор пишет: «...было бы крайне утопично представлять себе, что коммунистическое общество покончит со всяким разделением труда между людьми». Как видно, это диаметрально противоположно предвидению классиков, о совершенном исчезновении разделения труда. Но Е. Маневич делает вид, что оспаривает не их концепцию, а «крайние» мнения утопистов. «Опираясь на опыт» и «чувство реального», Е. Маневич отказывается разделить точку зрения тех экономистов и философов, которые «провозгласили конец всякому разделению труда между людьми последовательно, конец специализации работников при коммунизме». Ведь к их числу пришлось бы отнести и В.И. Ленина, предвидевшего в коммунизме людей, которые умеют все делать. Однако замалчивая те или иные взгляды классиков марксизма с тем, чтобы затем начисто их отвергнуть как утопические, едва ли можно кого-либо ввести в заблуждение. Ведь взгляды наших классиков общеизвестны. Лучше было бы выступить с открытым забралом против той или иной их догмы, если она устарела и уже не отвечает новым задачам творческого марксизма».

Но ведь С.Г. Струмилину было хорошо известно, что означал «прямой спор с нашим учителем» и «выступление с открытым забралом» для любого гражданина Советского Союза, если он сам не был в числе классиков, каковым считался из живых только один Сталин.

Редакция журнала «Вопросы экономики» согласилась опубликовать мой ответ академику Струмилину. В первом номере журнала за 1964 год была опубликована моя статья «К вопросу о разделении труда при коммунизме». В ней был дан ответ по существу проблемы в защиту моей позиции, а затем приведен ряд цитат из различных произведений классиков, что не так трудно, ибо в произведениях Маркса, Энгельса, Ленина есть немало взаимоисключающих положений по различным проблемам. Например, все, вероятно, помнят, что по вопросу, быть или не быть НЭПу, были такие высказывания Ленина: «НЭП всерьез и надолго» — или: «хватит отступать, НЭП исчерпал себя» — и т.п. Так примерно обстояло дело и с разделением труда. Можно по-всякому интерпретировать высказывания, хотя, наверное, в этом споре формально прав был Струмилинин. Классики вслед за утопистами напрочь отрицали разделение труда и предсказывали, что для полного счастья человек не должен иметь ни профессии, ни специальности, а должен менять род занятий даже в течение одного дня.

Я и сейчас удивляюсь, как мне повезло в жизни и как не был использован против меня этот донос академика Струмилина. С тех пор прошло много лет. Только в последние годы открылись архивы КГБ, и о многих людях стало известно то, о чем раньше никто не знал. Вот и об этом самом старом и самом уважаемом среди экономистов ученом, патриархе экономической науки, академике стало известно, что он был вовсе не таким, каким он нам тогда казался. Я, как и многие другие, всегда думал о нем с большой теплотой: Станислав Густавович не только высококвалифицированный статистик, специалист в области экономики труда и планирования, но и довольно отзывчивый человек. Кто только ни ходил к нему — и самые крайние русские шовинисты, и преследуемые евреи. И вернувшиеся с каторги и ссылки старые большевики. И всем, всем Станислав Густавович охотно помогал издавать книги, писал к ним предисловия, помогал защищать диссертации и т.п.

Но оказалось, что совесть его не чиста: он был борцом не только против меньшевика Громова, но своими оценками и экспертизой, свидетельствами помог Сталину и ГПУ расправиться с такими честными выдающимися учеными-аграрниками, как Чайнов и Кондратьев. Поэтому сейчас я уже не удивляюсь тому, что наш добрейший Станислав Густавович был способен на такой донос на меня. Он был, конечно, прав, я, действительно, выступил против утопических бредней не столько его, но прежде всего «наших учителей – Маркса, Энгельса, Ленина». Мои публикации в журналах «Вопросы философии» и «Вопросы экономики», а затем в книге «Проблемы общественного труда в СССР» были первыми в советской литературе тех лет выступлениями против некоторых отживших догм марксизма-ленинизма.

Правда о скрытой безработице в СССР

Когда в августе 1965 года после отпуска мы вернулись из Эстонии в Москву, в Институте экономики был большой переполох. Перепуганный главный редактор журнала «Вопросы экономики» Лев Маркович Гатовский и директор института Кирилл Никанорович Плотников, страшно волнуясь, позвонили мне: «Что это вы наделали? Как вы могли так подвести журнал и институт?» Они, перебивая друг друга, рассказали, что появившаяся в июньском номере «Вопросов экономики» моя статья «Всеобщность труда и проблемы рационального использования рабочей силы в СССР» получила небывалый резонанс во многих странах.

Вскоре после выхода в свет этого журнала московский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Теодор Шабад опубликовал в своей газете статью под броским заголовком «Профессор Маневич предлагает организовать в СССР биржу труда». В газете «Вашингтон Пост» статья была озаглавлена «Профессор Маневич предлагает устанавливать государственные пособия безработным». Аналогичные статьи появились в английских газетах «Обсервер» и «Сидней Таймс», во фран-

цузских газетах «Ле Монд» и «Экопресс», в итальянской газете «Иль Пополе», финской «Суоман социалдомократ», норвежской «Арбейтербладет» и во многих других газетах разных стран Европы, Америки и Азии. О моей статье говорил в своем публичном выступлении в Нью-Йорке министр торговли США И. Гоннор.

Понятно, что весь этот шум мировой печати вызвал большое беспокойство и недовольство советских органов власти. Раздались телефонные звонки редактору журнала и директору института. Были созданы комиссии для проверки содержания статьи. Эти комиссии приступили к работе в Госплане, в ЦСУ, в Академии наук и в КГБ. Комиссия ЦСУ установила, что в моей статье нет ни одной цифры и ни одного факта, которые не были бы опубликованы. Все они имели точные источники. Это заключение ЦСУ облегчило положение автора и редакции. Далее оказалось, что статья не содержит прямого утверждения, что в СССР есть безработица. Отсутствие безработицы долго считалось одним из основных преимуществ социализма перед капитализмом, где, как известно, всегда существует огромная армия «несчастных» безработных. Многие из которых, как известно еще с мирового экономического кризиса 1929–1933 годов, кончают жизнь самоубийством.

Но шум, поднятый мировой прессой, был, конечно, не случаен. В статье впервые признавалось, что в Советском Союзе существует очень большая скрытая безработица. На всех предприятиях страны, а также в многочисленных учреждениях содержится огромное число лишних рабочих и служащих. Там, где вполне мог справиться с обязанностями один, работали два-три человека. В стране всегда была большая текучесть рабочих, колхозников и служащих. Особенно велик был отток работников из Сибири и Дальнего Востока. В то же время происходил их приток в районы Закавказья и Средней Азии. Там образовались значительные излишки работников, возникла и усиливалась проблема их трудоустройства. В то время как удельной вес трудоспособного населения, не

участвующего в общественном хозяйстве, составил в Москве, Ленинграде 6–7%, а в среднем по СССР 20%, в Сибири он достиг 26%, а в некоторых районах еще больше, до 30–38%. В статье говорилось и о том, что в СССР, в отличие от капиталистических стран, технический прогресс не вел к высвобождению из производства работников. Это объяснялось глубокой порочностью плановой системы хозяйства, которая неизбежно порождала заинтересованность в создании заведомо излишних работников.

В этой парадоксальной практике были заинтересованы руководители предприятий и министерств: чем большее число работников — тем выше должностные оклады руководителей и всех инженерно-технических работников, а также выше премии и другие виды поощрения.

Одновременно с содержанием лишних рабочих и служащих во многих районах страны, особенно в ведущих отраслях народного хозяйства, увеличивался дефицит работников. Этот дефицит я назвал мнимым, так как на самом деле, как я уже выше описал, в стране создалась огромная скрытая безработица. Об острой необходимости в создании бюро по трудоустройству, писал я, свидетельствует и тот факт, что ежегодно только в промышленности СССР переходят по собственному желанию из одних предприятий в другие несколько миллионов человек, из которых одна треть меняет свои профессии.

Кроме того, в этой же статье я предложил ввести выплату пособий. Я писал: «С точки зрения интересов как трудящихся, так и социалистического производства было бы целесообразно, чтобы за то время, которое затрачивается на трудоустройство рабочими и служащими, высвобождаемыми в связи с техническим прогрессом, они были материально обеспечены. Если подсчитать, сколько вынуждено затратить государство на содержание излишних работников на предприятиях (не говоря уже о том, что наличие излишних работников тормозит повышение производительности труда), то станет ясно, что это материальное обеспечение экономически вполне себя оправдывает».

Эти предложения вызвали особенно сильное возмущение со стороны властей и руководителей официальной идеологии: «Как можно в нашей стране писать о создании бюро по трудоустройству, и особенно о введении пособий по безработице?! Это значит, — говорили мои многочисленные оппоненты, — признать, что у нас есть безработица, с которой мы успешно и навсегда покончили еще в 1930 году!»

Конечно, эти доводы моих противников и критиков были несостоятельны и демагогичны. Правителей вовсе не интересовали ни реальные интересы народа, ни интересы рабочего класса, от имени которого они постоянно выступали и именем которого они клялись. Рабочий класс только назывался гегемоном, но никогда им не был, как никогда не была и диктатура пролетариата, а была, как известно, диктатура господствующей номенклатурной бюрократии. Вот почему мою честно написанную статью признали вредной и, как я потом узнал со слов ответственного редактора метростроевской газеты, моего однополчанина Гвиши Гвина, в редакции всех газет и журналов поступило распоряжение впредь не печатать статьи профессора Е.Л. Маневича. И, действительно, не печатали два года, пока этот запрет не отменили по ходатайству ответственного редактора журнала «Социалистический труд» П.М. Лозневого.

В то же время меня продолжали печатать в газетах и журналах других стран через государственное агентство «Новости». Печатали мои интервью в коммунистических газетах «Юманитэ» и «Унита», ответы на письма иностранных читателей, на выступления различных газет, в частности норвежской рабочей партии «Арбейтербладет».

С большими, невероятно большими трудностями мне удалось после шума в связи с появлением в печати моей статьи о безработице, в конце концов, издать книгу «Проблемы общественного труда в СССР». Она была закончена в декабре 1964 года, а вышла в свет через два года в конце 1966 г.

«Идеологи» мне еще долго не могли простить, что я рассказал правду о безработице в СССР. Когда в институт при-

езжали ученые из капиталистических стран, меня приглашали беседовать с ними и отвечать на их вопросы лишь в том случае, если они настаивали на встрече со мной.

Мои предложения о создании бюро по трудоустройству были осуществлены через два года после выхода статьи. Что касается моего предложения о выплате пособий безработным, то оно было осуществлено лишь через 20 лет, когда директор Института экономики академик Л.И. Абалкин направил мою докладную записку в Совет министров СССР о необходимости подготовиться к предстоящему массовому высвобождению рабочих и служащих в связи с экономической реформой.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС, СЛУШАЯ Н.С. ХРУЩЁВА

Это было в ноябре 1962 года. Мне позвонил заведующий лекторской группы московского городского комитета партии и спросил, хочу ли я пойти в Кремль на заседание Пленума ЦК КПСС. Для меня есть у него гостевой билет. Я тут же поехал за билетом.

Пленум проходил в Кремлевском дворце съездов. Пленум был расширенным. На нем присутствовали не только члены и кандидаты ЦК, ЦКК, но и многие партийные и государственные деятели со всей страны, а также гости — писатели, ученые, военные и др. Весь огромный зал Дворца съездов был заполнен. Места в президиуме заняли члены и кандидаты Политбюро: Брежнев, Подгорный, Микоян, Суслов, Гришин, Романов, Полянский, Косыгин, Шелепин, Воронов, Громыко, Шелест, Пономарев. Председательствующий (кажется это был Суслов) предоставил слово Первому секретарю Н.С. Хрущёву.

Докладчика встретили бурными аплодисментами. И на протяжении всей его речи, которая продолжалась более двух часов, ее сопровождали бурные аплодисменты. Как казалось, эти аплодисменты были вполне заслужены Никитой Сергее-

вичем. Они выражали искреннее одобрение политики руководителя. Как только Хрущёв поднялся на трибуну, он вынул большую пачку тезисов, положил ее, погладил рукой и сказал: «Вот этот текст моего выступления, мне его подготовили мои помощники, пусть он лежит, а я обойдусь без этих бумаг». Это выступление понравилось собравшимся и было одобрено дружными аплодисментами.

Началась свободная речь, импровизация. Я, как и все 6000 делегатов и гостей, слушал Никиту Сергеевича с огромным интересом. Это был живой человеческий рассказ о международных и внутренних событиях, о его переживаниях, о соратниках по руководству и многое, многое другое. Я тогда думал, что эта речь будет опубликована в газетах и поэтому ничего не записывал. Но она, как мне известно, никогда и нигде не была опубликована. С тех пор прошло 30 лет, вероятно, в архиве ЦК сохранилась стенограмма этого пленума, и может быть, ее когда-нибудь опубликуют. Поскольку о ней мало кто знает, я решил рассказать все, что мне удалось с тех пор запомнить.

Главной темой доклада Н.С. Хрущёва было сообщение о так называемом Карибском кризисе. Он рассказал о том, как были завезены на Кубу наши ракеты с атомными боеголовками, как обрадовались этому конфликту между СССР и США наши «друзья». Хрущёв называл их «китайские марксисты-ленинцы». «Они радостно забегали, они предлагали свою кровь для переливания советским воинам, когда начнется атомная война». Он говорил, что «эти идиоты марксисты-ленинцы не представляли себе всех возможных последствий этой страшной войны. Я спросил нашего министра Малиновского, вот он тут сидит, я спросил его: сколько потребуется дней, чтобы смести с земли всю Кубу, и он ответил — недели две. Но ведь столько же потребуется, чтобы смести и весь Советский Союз».

В октябре 1962 года мир оказался у самого порога Третьей мировой войны, а человечество на грани термоядерной катастрофы. «Мы, — продолжал Хрущёв, — решили убрать

ракеты, а эти «марксисты-ленинцы» завопили, что мы испугались и что надо идти до конца. Мы убрали ракеты и тем спасли мир». Эти слова были покрыты бурными аплодисментами всех собравшихся.

«Мы отступили и увезли ракеты, и что же мы должны сейчас делать? В этой связи я вам расскажу старую байку. На одном балу молодой красивый офицер танцевал с милой дамой, но он как-то неудачно повернулся и громко перднул. Молодой офицер тяжело переживал этот случай: в тот же вечер он застрелился. Так что же, и нам надо кончать самоубийством? Нет, мы этого делать не будем!» И эти слова были встречены смехом и еще более продолжительными аплодисментами.

Таким образом, благодаря мудрости и здравому смыслу руководителей двух великих стран — Н.С. Хрущёва и Дж.Ф. Кенеди — был ликвидирован Карибский кризис. Мир был спасен.

Затем Никита Сергеевич перешел к темам внутренней жизни страны. «На днях, — рассказывал он, — ко мне пришел Твардовский, вот он сидит здесь. Он принес мне рукопись книги писателя Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Я читал всю ночь. Читал и плакал. Это честная книга. В ней правдиво рассказано, что делалось в наших лагерях и тюрьмах. Прошло уже много дней, а они ничего не говорят. Молчат. А почему молчат? Потому, что они сталинисты!» Все члены и кандидаты Президиума потупились и продолжали молчать, а весь зал сотрясаясь от аплодисментов.

Следующим сюжетом доклада стал разговор об «энкаведенцах» — о работниках госбезопасности. Никита Сергеевич говорил, что неизмеримо увеличилось количество работников этой организации, что они пытаются везде командовать, что они следят за всеми, в том числе и за руководителями партии. Он вспоминал, что, когда он был руководителем московской партийной организации, то не всегда мог читать секретные материалы, надо было договариваться о посещении так называемых «закрытых объектов». Он сооб-

шил собравшимся о том, что хочет значительно сократить численность этих органов, снизить им неимоверно высокую заработную плату, лишить некоторых привилегий. И эти слова были поддержаны бурными и радостными аплодисментами расширенного Пленума ЦК.

Еще я помню, как образно говорил Хрущёв о борьбе с воровством в торговле. Он предлагал посылать на проверку магазинов обязательно по несколько человек. «Иначе, – говорил он, – если придет один контролер, ему заведующий магазином засунет в рот колбасину, он будет ее жевать и ничего не сумеет сказать – ведь во рту у него желанная колбаса. А если придут несколько человек, то их трудно подкупить. Да и они побоятся свидетелей».

О многом говорил тогда руководитель партии и страны. Но для меня было совершенно ясно, что неизбежна борьба между Первым секретарем и его так называемыми «соратниками». Они уже не были единомышленниками, так как под угрозой находились их привилегии и власть. Преобладающее большинство номенклатурных работников было против освобождения из тюрем и лагерей ни в чем неповинных жертв сталинского (и их) террора, против снижения роли армии и НКВД. Они очень не хотели, чтобы народ узнал правду о лагерях, тюрьмах, об элите и номенклатуре, о коррупции и многом другом, о чем так красочно рассказывал Хрущёв.

Я хорошо помню, что, слушая речь Хрущёва, в которой он упрекал всех сидящих в Президиуме Пленума в том, что они ничего не говорят о книге Солженицына, молчат потому, что они сталинисты, и что «энкаведистов» надо сокращать и лишать привилегий, я пришел к выводу – они постараются, очень постараются съесть своего руководителя. Когда я вернулся домой, я сказал жене и тестю, что судьба Никиты Сергеевича предрешена, его или убьют, или снимут. Так оно и случилось примерно через полтора года. Вскоре после того, как все члены Президиума «сердечно» поздравили его с семидесятилетием. Я тогда видел по телевидению, как они

все пришли рано утром домой к своему любимому другу, учителю, руководителю, целовали, обнимали и долго со слезами на глазах поздравляли и желали многих лет жизни, руководить ими и страной. Какая умирительная была картина, а ведь в эти же дни, как стало потом известно, полным ходом шла подготовка заговора, готовился захват власти, во главе страны собирался стать человек, которого Никита Сергеевич ласково называл «сынок».

ВАРШАВА—ВЕНА—БУДАПЕШТ

Вероятно, из-за моих статей против догматических высказываний академика Струмилина, а также по поводу скрытой безработицы в СССР, выступления в защиту профессора Мендельсона, которого обвиняли в троцкизме при обсуждении его большого исследования об экономических кризисах, я был в числе не внушающих доверия властям. Так, еще в 1950 году научный сотрудник, с которым мы были в командировке, однажды, когда мы остались с ним вдвоем, сказал мне: «А знаете, Ефим Львович, вами очень интересуются «органы», меня спрашивали о ваших настроениях». — «А почему именно у вас «органы» спрашивали обо мне?» На это он спокойно ответил: «А я их информатор».

С тех пор я всегда знал, что и как говорить этому «информатору».

Несколько раз, когда меня приглашали некоторые ученые западных стран приехать туда, меня вежливо просили ответить им отказом из-за моей, якобы, чрезвычайной занятости. Особенно жалко мне было это делать, когда меня пригласила профессор Браун. Она, после двух встреч со мной в Москве, прислала официальный вызов-приглашение в Президиум Академии наук СССР от одного из американских университетов, в котором она тогда работала. Она предлагала мне приехать на следующих условиях: жить в ее квартире, пользоваться ее автомобилем, получать ее заработную

плату, изучать интересующие меня проблемы на американских предприятиях. В свою очередь, она будет получать мою заработную плату и изучать проблемы труда на московских предприятиях. Так как в моей квартире живет семья, она будет жить в гостинице за свой счет. Однако отдел внешних связей Президиума АН предложил мне написать вежливый отказ от этого приглашения «из-за большой занятости», что я вынужден был сделать.

В другой раз я получил приглашение от международной организации по исследованию проблем повышения производительности труда, которая тогда находилась в ФРГ. Меня приглашали на конференцию, причем все расходы по моей поездке туда и обратно и на жизнь в Бонне эта организация брала на себя. Отдел внешних связей АН просил меня поблагодарить за приглашение, которым я, к сожалению, не могу воспользоваться из-за большой занятости.

Третье приглашение пришло на мое имя и на имя сотрудника сектора, которым тогда руководил профессор Б.Ц. Урланис, на поездку в Лондон на международную конференцию по проблемам демографии. Профессор Урланис подал свои документы, а мне ученый секретарь института по связям Григорий Попов не советовал заполнять необходимые анкеты: «Можете, Ефим Львович, не оформлять свои документы – вас не пошлют». Я его послушал. Ни меня, ни профессора Урланиса в списке командированных не было, послали несколько молодых научных сотрудников. Мне отказали также выдать разрешение на поездки в Чехословакию и Румынию.

Но, видимо, я был все-таки полувыездной, потому что в поездках не от Академии наук я участвовал: дважды был делегатом на конференции МОТ в Женеве, уже после войны – в Польше, Австрии, ГДР, Венгрии, Югославии. Все эти поездки (за исключением Венгрии) были от ветеранов Великой Отечественной войны.

Поездка в Польшу состоялась в 1960 году в так называемом «Поезде дружбы». Тогда из разных городов СССР пое-

хали в Польшу солдаты, офицеры и генералы, участвовавшие в освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков. Все вагоны поезда «Москва—Варшава» были заполнены ветеранами войны. Встретили нас поляки превосходно. Мы пробывали в различных городах и селениях Польши 10 дней, выступали на больших и малых предприятиях и в некоторых деревнях. Везде нас угощали водкой и вином, дарили ценные подарки, обнимали, говорили добрые слова.

Но, когда я вспоминаю об этой поездке, не могу забыть одно событие, участником которого, к сожалению, был и я. В тот день большая группа советских ветеранов войны отправилась на автобусе в знаменитый лагерь истребления евреев — Освенцим. Я не буду здесь рассказывать о том, что мы увидели в этом лагере-музее. Кто не видел его, тот читал или слышал рассказы других. И я до этой поездки знал об Освенциме из книг, кинохроники и рассказов многих. Но все-таки ни по книгам, ни по рассказам других людей нельзя себе представить переживания человека, увидевшего своими глазами огромные горы очков, маленьких детских ботиночек, женских волос... Когда после осмотра мы возвращались в свою гостиницу, мне было не по себе. Я не мог успокоиться не только потому, что перед моими глазами стояло только что увиденное, но было невыносимо тяжело видеть и слышать, как спокойно и невозмутимо вели себя мои однополчане, они не только не думали о том, о чем думал я, но они... пели, пели веселые и задорные песни!

Среди поющих был и бывший адъютант маршала Семена Буденного, высокий, толстый, пожилой полковник, которого я давно заприметил потому, что он часто требовал закрыть все окна в автобусе, боялся сквозняков и простуды. Когда автобус остановился возле нашей гостиницы, где мы должны были переночевать, началось распределение номеров. В каждом из них должны были жить по два человека. С бывшим адъютантом Буденного (фамилию его я забыл) никто почему-то не хотел жить. Тогда А.Ф. Мединников, мой однополчанин по дивизии Народного ополчения и наш

послевоенный председатель комитета ветеранов, видимо, зная, как он мне потом сказал, мой добрый характер, сказал: «Пусть он с тобой, Ефим Львович, переночует».

Но я, помня, как этот полковник только что, возвращаясь из Освенцима, пел веселые песни, и зная, что он не любит открывать окна, решительно сказал: «И я не хочу с ним жить!» Рассерженный полковник закричал: «А я с тобой не только не хочу жить, но на одной доске не хочу с тобой сидеть!» — «Это почему же?» — «Да потому, что ты еврей!». Я тут же в ярости вскочил, чтобы ударить полковника. Меня схватили за руки, и я только сказал: «Ах ты, фашистская сволочь!» Всю эту перепалку видел и слышал сидевший в автобусе капитан польской армии, который еще до этого мне сказал, что он скоро собирается уехать в Израиль.

С тех пор началось длительное разбирательство моего поступка. Это расследование прошло много инстанций: сначала на Совете ветеранов 4 дивизии, потом на Совете ветеранов Москвы, потом на Совете ветеранов Союза, а затем и в Горкоме партии. Везде обвиняли меня, только меня, как я мог в присутствии капитана польской армии назвать героического кавалериста, адъютанта самого Буденного фашистской сволочью! Мои объяснения, что я в тот день переживал увиденное в Освенциме, и что он грубо обругал меня, потому что я еврей, — не принимались никем. Все говорили, что я оскорбил борца с фашизмом. Разбирательство продолжалось больше года, пока Горком КПСС не поручил мое «дело» тогдашнему секретарю партийной организации нашего института, бывшему комиссару нашей дивизии, И.А. Анчишкину.

Иван Александрович долго разговаривал с полковником. Они вспоминали бои во времена Гражданской войны, в которых участвовали. Все кончилось тихо, мирно, при этом никто из нас не просил извинения. Дело, наконец, закрыли.

В 1965 году, ровно через 20 лет после окончания войны и освобождения Вены от фашистов, Советский комитет ветеранов войны послал делегацию в Австрию. В ее составе было 30 человек, которые участвовали в боях на австрийской

земле, награжденных медалью «За взятие Вены». Делегацию возглавляла молодая женщина, хорошо владевшая немецким языком, а ее заместителем был мой однополчанин по 4 гвардейской армии полковник Я.А. Старчевский.

Эта поездка осталась в памяти как радостный счастливый праздник. И хотя в некоторых газетах, особенно правых партий, о нас писали, что в Австрию едут те самые русские, которые 20 лет назад грабили австрийцев, насиловали их женщин — нас, как правило, везде встречали хорошо. Нам было приятно видеть, как вновь поднялась и расцвела эта красивая страна, как хорошо стали жить австрийцы после нашей победы над гитлеровской Германией. Уровень жизни стал высоким, налоги были мизерны, ибо расходы на содержание армии были ничтожны. У власти были тогда социал-демократы, которые выполняли свою программу, предоставили своему народу много социальных благ: высокие пенсии, бесплатное здравоохранение, всеобщее бесплатное образование. Я посетил несколько австрийских предприятий и убедился, что так называемые в СССР «общественные фонды потребления», о которых мы говорили как о крупном достижении социализма, здесь, в Австрии были несравненно выше наших. Что же касается размеров пенсий, то они не шли ни в какое сравнение с нашими «достижениями».

Мы объехали большую часть страны, побывали в самых красивых, живописных местах, увидели то, что мы не могли увидеть во время войны. Австрия показалась мне еще более красивой, чем Швейцария. Нет ничего удивительного, что в эту страну едут туристы со всего света.

Где-то на юге страны меня пригласили в гости местные коммунисты. Меня принимали в уютном кафе, которое располагалось в каком-то погребке. Хозяев было человек 8—10, австрийцев, связавших свою жизнь и судьбу с коммунистической партией. Они были подпольщиками, борющимися с фашистами. Многие из них сидели за свою деятельность в тюрьмах и лагерях. Все были верными последователями и учениками Ленина и Сталина. Они глубоко верили в правоту

гениального вождя мирового пролетариата Иосифа Сталина. А вот сейчас Хрущёв рассказал о нем такое, чему они никак поверить не могли. Они и пригласили меня, чтобы узнать всю правду. А правда эта, им казалось, заключается в том, что любимый ими Сталин грубо оклеветан.

Я старался убедить этих коммунистов в том, что Сталин изверг рода человеческого, убийца миллионов ни в чем неповинных людей. Они слушали внимательно и все же не верили мне, повторяя со слезами: «Мы всю нашу жизнь отдали идеям Сталина, мы шли на смерть с его именем».

По разработанному «Обществом дружбы СССР–Австрия» плану получалось так, что наша делегация никак не сможет посетить город Санкт-Пельтен, где мы воевали и где я после войны полгода писал книгу «От Сталинграда до Вены». Мне очень хотелось побывать там снова, увидеть своих знакомых и друзей. Я сказал об этом руководителю делегации. И она, к моей радости, быстро решила эту проблему: мне разрешили поехать на поезде до Вены в сопровождении сотрудника «Общества дружбы», а оттуда на автомобиле в Санкт-Пельтен.

Моя поездка была назначена на следующий день. Накануне нашу делегацию принял военный министр и его генеральный штаб. На приеме, который состоялся ночью, вместе с министром нас принимали генералы, полковники, майоры, капитаны австрийской армии. Когда мы изрядно выпили, я поинтересовался своими соседями и собутыльниками. Оказалось, что все они воевали против нашей армии. Мой сосед справа воевал против меня под Москвой, а сосед слева – под Курском. Я оглянулся – везде сидели они, те самые офицеры гитлеровской армии, которые захватили почти половину моей страны, а может быть, среди них есть и те, кто выполнял приказ фюрера об «окончательном решении еврейского вопроса»? Мне стало тяжело сидеть с ними, хмель мгновенно прошел. Я увидел, как все члены нашей делегации радостно пьют с ними, с нашими недавними врагами. Я написал тогда записку Старчевскому об

этом. Прием продолжался. Я же ушел. На следующий день я уехал в Вену.

Из Вены я поехал с советским военным атташе, который ехал в Санкт-Пельтен возлагать цветы на могилы павших советских воинов. Мы с генералом приехали, когда на кладбище собралось много жителей города, кто-то произносил речь. Среди собравшихся был и бургомистр города. Когда мы с генералом возлагали цветы, ко мне вдруг бросились два пожилых австрийца, они радостно и громко кричали: «Унзер майор гекомен, унзер майор!» Они обнимали меня и повторяли эту фразу. Я догадался, что эти люди из тех, кто двадцать лет назад приходил ко мне беседовать. Я никого из них не узнал, а они узнали меня. Они пригласили меня в гости.

Увидев эту трогательную встречу, бургомистр подошел к нам и пригласил меня и атташе зайти в ратушу. Там состоялся прием. Нас угощали австрийским вином, произносились речи, я выслушал приятные слова благодарности за помощь жителям Санкт-Пельтен в тяжелые годы войны. Конечно, это было приятно. Особенно доволен был военный атташе, который мне рассказал о том, что в некоторых газетах писали — к нам едут те, кто нас грабил и насиловал, а тут такая трогательная встреча!

Я воспользовался приглашениями и побывал в домах моих старых знакомых. Везде меня душевно принимали, угощали, расспрашивали. Эти люди уже достигли пенсионного возраста. Они каждый год имеют возможность путешествовать и уже побывали в разных странах мира. Потом я нашел знакомое семейство Купершмитов — Цилю, Гилю и Фриду. Весь день я слушал рассказы об их жизни в минувшие после войны 20 лет. Поздно вечером мы вернулись в столицу и посетили Венскую оперу. На завтра я догнал делегацию, и наша поездка продолжалась.

Еще об одной поездке за рубеж я хочу тут рассказать — о поездке осенью 1968 года в Венгрию. На этот раз я был включен в состав делегации Советского Союза от сотрудников Института экономики на конференцию социалистиче-

ских стран, посвященную проблемам занятости. Конференция проходила в Будапеште. Сюда приехали представители Польши, ГДР, Румынии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии.

Чехословацкую делегацию возглавлял ответственный работник Госплана, к моему глубокому сожалению, я забыл его фамилию, хотя я с первой встречи с ним проникся к нему большим уважением и симпатией. Как только мы с ним поздоровались, он тут же, обращаясь к делегации СССР, стал громко кричать: «Что вы наделали, почему вы ввели танки на наши улицы?! Мы вас так любили, мы вам так верили, зачем, зачем вы поступили так с нами, со своими друзьями?!»

Мне было невыносимо стыдно и горько. Я пытался его успокоить и говорил то, что тогда писали наши газеты: «Наша армия и армии союзников пришли в Чехословакию ненадолго, в ближайшее время они будут отозваны». Я тогда верил, а может быть, хотел верить, что так и будет. Но чех кричал: «Давайте, профессор Маневич, поспорим — я уверен, что оккупация ваших войск будет длиться не менее чем двадцать лет!» Он оказался прав. Она длилась более двадцати лет. Повторяю, мне было больно и стыдно за свою страну, за партию коммунистов, в которой я тогда состоял.

События того лета 1968 года остались в моей памяти и душе навсегда. Я не могу припомнить, чтобы еще какое-нибудь событие в нашей или другой стране так врезалось в сердце, голову и душу, если не считать нападение фашистской Германии на СССР и шестидневную войну Израиля с арабами за свое существование.

В том году я получил право ежедневно читать телеграммы ТАСС из Чехословакии и других стран мира. Поэтому я мог сравнивать информацию советских газет с информацией, идущей из Чехословакии. На моих глазах там быстро освобождались от цензуры, люди читали правдивые, никем не искаженные выступления Дубчека, Смороковского и других деятелей страны в защиту «социализма с человеческим лицом». В то же время я видел, как разворачивается злая и лживая подготовка к уничтожению свободного слова и сво-

бодной мысли чехословацких коммунистов, их публицистов и писателей. Я видел и понимал, как невыносимо нашим идеологам слышать о каком-то другом социализме с человеческим лицом! Но мне казалось, что «наши» не посмеют оборвать, сломить, искоренить начавшееся движение к свободе, к подлинной демократии! Как можно задушить эти преобразования, которые пытаются осуществить наши подлинные друзья сами коммунисты?! Эти преобразования активно поддерживал народ, рабочий класс и интеллигенция!

Сейчас мне ясно, как часто я выдавал желаемое за действительное. Вот и в те дни я, понимая ненависть нашей номенклатуры к свободе и демократии, все-таки надеялся, что руководители советской страны оставят в покое чехословацких коммунистов и что начнется новый поворот к демократии. Я надеялся и верил в эту мечту, в эту иллюзию. И, когда я прочел в советских газетах сообщение о мирных и дружеских переговорах партийных руководителей всех партий с чехословацкими деятелями, и в газетах были помещены большие фотографии этого «братского» совещания, я в тот же день послал радостную телеграмму моему сыну Виталию о том, что все обошлось, и весна будет расцветать!

Вскоре я узнал, что «друзья» договорились направить свои войска, чтобы уничтожить появившиеся ростки свободы. И уничтожили.

Жаль, что у меня здесь, в Израиле, нет тех документов, которые я тогда тщательно собирал, все они остались в моем кабинете в московской квартире. Там сохранились вырезки из газет, фотографии встреч представителей всех партий, содержание переговоров и многое другое. Этих вырезок нет со мною, и я вынужден ограничиться воспоминаниями двадцатичетырехлетней давности.

«Пражской весне» и «социализму с человеческим лицом» не была суждена долгая жизнь, их подавили советские танки, действительно, вероломно вторгшиеся ночью. Это был страшный удар по последней надежде на столь желаемые и давно назревшие перемены. Надежды рухнули.

Опять крепчал мороз сталинского гнета над народами, живущими в лагере социализма.

Помню, назавтра после свершившегося вторжения наших войск я пошел в Институт экономики. Я вглядывался в лица людей, но ничего не изменилось. Все было как всегда: люди спешили на работу, в магазины, в гости.

Мне же казалось, что я должен, обязательно должен выразить свой протест против этих действий моего правительства, моей партии, моей армии. Если бы меня в тот день кто-нибудь позвал на Красную площадь, например, с теми семью молодыми протестантами, я бы обязательно пошел. Но никто меня не звал, а один я не пошел, и об этом жалел все годы...

Там, в Будапеште, кроме чехословацких делегатов, никто не говорил о «Пражской весне», а с делегацией из Праги говорил только я, продолжал успокаивать их руководителя. С одним только человеком в Будапеште мне запомнился человеческий разговор о событиях в Чехословакии, экономистом Отто Шиком, об арестах руководителей чехословацких коммунистов — Дубчека и его друзей. Этот разговор состоялся ночью в кабинете директора Института экономики Венгрии с Иштваном Фришем. В эту ночь он раскрылся предо мной. Он, как и я, с огромным волнением говорил о случившемся, потом, как улитка, закрылся, и подобных разговоров с ним никогда не было. В эту ночь я простил ему его поддержку подавления венгерского восстания 1956 года: когда я тогда ему сказал, что нельзя было расстреливать Имрэ Надя, Фриш с удивлением мне ответил: «А как же его не стрелять?!» Впрочем, также реагировал на это убийство и Д.Т. Шепилов.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ

Это произошло осенью 1967 года. Меня выбрали, как и в предыдущие годы, в состав партийного бюро института.

Выбрали тайным голосованием, абсолютным большинством голосов. Тогда еще выборы были настоящими, то есть выдвигалось большее число кандидатов, чем надо было избрать. Позже стало иначе — заранее готовился список, и тем самым гарантировалось избрание всех, кто был включен в этот список. Такая «демократия» наступила позже, в годы расцвета брежневщины. В состав партбюро вошли, на мой взгляд, совсем неплохие люди: И.А. Анчишкин, В.М. Батырев, В.Г. Венжер, М.А. Виленский, А.М. Гатовский, Я.А. Кронрод, Е.С. Карнаухова, Н.И. Линкун, Е.Л. Маневич, А.В. Опацкий и еще двое, фамилии которых я забыл. В это бюро избрали людей с большим партийным стажем, большинство (8 человек из 12) — участники Великой Отечественной войны, 7 доктора наук.

Райком и Горком партии к моему избранию отнеслись неплохо, чего нельзя сказать об отделе науки ЦК КПСС, во главе которого находился близкий человек Брежнева — Трапезников. Недоволен моим избранием был и заведующий сектором экономики ЦК Скипетров. Но выборы состоялись. Бюро приступило к работе.

Напомню обстановку того времени, 1967–1968 гг. Руководители партии и советского государства боялись, как бы события в Праге не распространились на Советский Союз и другие социалистические страны, как бы и другие народы не захотели сбросить бесчеловечные режимы диктатуры пролетариата.

Этот испуг, возможность потерять власть и привилегии сказался на всей жизни страны. Поэтому резко усилилось преследование всякой попытки сказать правдивое слово в науке, искусстве, политике. Чешские события сказались и в том, что в СССР затормозили, а потом полностью отказались от начавшейся при Хрущёве хозяйственной реформы.

Руководители страны почувствовали реальную угрозу такой реформы всему сложившемуся еще при Сталине режиму. На страже «великих завоеваний социализма» находилось Политбюро, его секретари, и особенно главный идеолог Михаил Суслов, и в частности отдел науки ЦК. Его

работники везде видели «влияние пражских сионистов», им мерещилась ревизия коммунистической идеи и социалистической практики.

Как-то в это время, когда разворачивалась борьба за чистоту марксизма-ленинизма, нас с Л.М. Гатовским вызвали в отдел науки ЦК КПСС на узкое совещание. Его проводил Скипетров. На совещании, кроме нас, были и инструкторы ЦК, в том числе ведавший нашим институтом Толпекин. Скипетров начал беседу тихим, но внушительным голосом. Он говорил, что надо внимательно прочесть ранее вышедшие работы — книги, брошюры, статьи с точки зрения тех событий, которые произошли в Чехословакии. В этих опубликованных работах Института экономики содержится пагубное влияние чехословацких экономистов, в частности Отто Шика, ревизионистов Дубчека и Смороковского. Следует, говорил он, публично ударить по этим работам и их авторам, разоблачить их.

Выслушав это указание, я довольно спокойно сказал: «В прошлом году, например, вышла ваша, товарищ Скипетров, книга, — я назвал ее заголовок, — так что, если, как вы считаете, необходимо для науки и в интересах процветания марксизма-ленинизма, я могу вдребезги раскритиковать эту книгу и вас, ее автора!»

Толпекин и другие инструкторы громко засмеялись, а Скипетров страшно побледнел и промышчал что-то невразумительное. (С тех пор он стал моим злейшим врагом, и, как только мог, преследовал меня долго и упорно. Звонил в горком и райком по поводу каждой моей статьи, находил в них «ревизию» марксизма-ленинизма, а затем дал указание о том, чтобы меня сняли с заведования сектором, и я снова пять лет был старшим научным сотрудником.)

Через некоторое время, по указанию отдела науки ЦК КПСС (вероятно, того же Скипетрова) о «проработке» ранее вышедших книг, она началась. В газете ЦК КПСС «Социалистическая индустрия» появилась статья М. Ковалевой и К. Корытова, работников кафедры политэкономии

Академии общественных наук при ЦК КПСС, «Ошибочные позиции. О книге Б.В. Ракитского “Формы хозяйственного руководства предприятиями”». Эта книга об общественных фондах потребления была неплохой работой и никаких вредных «ревизионистских» положений не содержала. Однако она была объявлена «ошибочной и вредной».

Еще со сталинских времен прочно установилась такая практика, если опубликована отрицательная рецензия в газете или журнале ЦК КПСС, надо «признать свои ошибки» и наказать автора. На этот раз было не так. Прочитав внимательно книгу и рецензию на нее, я не нашел в книге никакой крамолы. Провел заседание партбюро. Перед ним я попросил всех членов бюро прочесть книгу и рецензию. Бюро единодушно отвергло обвинения и признало выступление газеты несправедливым, ложным. Бюро постановило провести расширенное заседание Ученого совета Института экономики.

Ученый совет заседал два дня в начале апреля 1970 года. На этот Ученый совет пришло много людей из различных организаций – большой зал на Волхонке, 14, был заполнен, как это всегда бывало в недавние годы проработок космополитов и других врагов. На этот раз мы прорабатывали газету ЦК КПСС и авторов рецензии – работников Академии общественных наук ЦК КПСС!

Первым с подробным разбором книги и рецензии выступил я. Вслед за мной выступили почти все члены Ученого совета, а также некоторые приглашенные, в том числе сотрудник ЦЭМИ Станислав Сергеевич Шаталин, зам. директора ЦЭМИ АН СССР, лауреат Госпремии СССР (1968).

При голосовании подготовленного нами решения Ученого совета, в котором отвергались необоснованные обвинения, выдвинутые в рецензии, только два члена совета воздержались (это были Карнаухова и Васильев), а все остальные голосовали за него.

Это, как нам тогда казалось, была наша большая победа. Впервые был дан организованный отпор ученых Института экономики отделу науки ЦК КПСС. В постановлении Уче-

ного совета содержался пункт, в котором было выдвинуто требование к газете опубликовать это решение, где осуждалось несправедливое и лживое обвинение книги и ее автора Б.В. Ракитского.

Решение о том, надо ли публиковать это опровержение, обсуждалось в ЦК долго. Одно время оно уже было принято, как мне тогда сказали, по указанию заведующего отдела пропаганды А.Н. Яковлева. Но вскоре Яковлева освободили от этого поста и назначили послом в Канаду. Отдел науки тут же отменил состоявшееся решение. Опровержение так и не было опубликовано.

Второе «дело», которым тогда пришлось заниматься партбюро, было связано с тем, что перед самым выходом в свет была задержана брошюра сотрудника института Ивана Николаевича Буздалова. Его тоже обвинили в том, что в брошюре под влиянием чехословацких событий допущены грубые политические ошибки в изложении теоретических и практических проблем аграрной политики СССР.

В издательство срочно вызвали заместителя директора института Д.А. Аллахвердяна, который в то время отвечал за издательскую деятельность. От него потребовали отозвать брошюру Буздалова и наказать ее автора.

Д.А. Аллахвердян и Гатовский, тогда директор института, пришли в партбюро. Они предлагали немедленно провести обсуждение брошюры и осудить Буздалова и рецензентов, которые дали положительные отзывы на эту ошибочную работу.

Я просил не делать этого. «Буздалов, — сказал я, — член КПСС, участник Великой Отечественной войны. Мы сначала разберемся на партбюро». Для этого была создана комиссия, и было поручено членам бюро и специалистам внимательно прочесть верстку брошюры и определить, справедливы ли обвинения издательства. «Только под вашу ответственность», — сказал мне Л.М. Гатовский.

Так и сделали. Вместо Ученого совета мы провели обсуждение выдвинутых обвинений на расширенном заседании

партийного бюро. Оно длилось не то два, не то три дня. На нем выступили члены бюро, члены комиссии и рецензенты. Я уже не помню деталей этого разбирательства, но окончилось оно вполне благополучно и для автора, и для перепугавшихся рецензентов,

Эти два «дела» я отношу к своим достижениям за время моего секретарства. О них мне приятно вспомнить. Мы защитили сотрудников своего института. Я тогда еще раз убедился в том, что на этом посту можно много сделать для людей полезного и хорошего.

Будучи секретарем, я лучше узнал многих сотрудников института, в которых до того ошибался. Так, работал в институте беспартийный ученый, доктор экономических наук, член редколлегии журнала «Вопросы экономики» В.П. Красовский. Он пользовался уважением и доверием.

Все знали, что он много лет отбыл в Гулаге, а до ареста трудился в Госплане, одно время работал с Н.И. Бухариным. Я, как и многие другие, жалел его, как и всех, кто попал в жернова сталинской мясорубки. Но мое мнение о нем коренным образом изменилось, когда он однажды пришел ко мне в партбюро и начал своим тихим голосом информировать меня о том, что такие-то его сослуживцы «ведут антисоветские разговоры». Услышав его донос, от неожиданности я в первую минуту растерялся. С тех пор видеть и слышать его было до омерзения противно. Кажется, он почувствовал мое отношение к нему.

Вспоминаю еще об одном случае. Это было уже в конце моего годовичного пребывания на этом общественном поприще. Стало известно, что один из сотрудников нашего института, член партии, был замешан в другом институте, откуда он к нам пришел, в некрасивой истории. Все его сотрудники, с которыми он там работал, были обвинены в «антисоветской деятельности», некоторые из них оказались уволенными, а некоторых даже арестовали. Когда я пригласил этого коммуниста, он доверительно мне сообщил, что именно он «раскрыл истинное лицо этих врагов», то есть донес на них в

органы. Я сделал вид, что не понял его, не расслышал и потребовал, чтобы он немедленно ушел из нашего института. Об этом я твердо сказал и в райкоме партии: «Я не могу допустить, чтобы человек, участвовавший в антисоветской группе, разлагал молодежь нашего института».

При мне заведующая отделом райкома звонила какому-то «компетентному» деятелю. Я понял, что там говорилось что-то в защиту этого «героя». Я же не хотел о нем слышать и требовал убрать этого человека из института. И добился. Его, конечно, пристроили в другом месте. Наверное, за такую мою «сверхбдительность» райком просил меня продолжать секретарствовать и в следующем году, но я отказался. Я сказал, что хочу продолжать научную работу и что больше одного года ученому секретарствовать не следует.

ГОДЫ БРЕЖНЕВЩИНЫ

Конечно, политическая цель заговора партийной верхушки против своего Первого секретаря Н.С.Хрущёва заключалась в повороте к сталинщине. И она вскоре начала осуществляться. Сначала исчезла всякая критика «культы личности». Потом кое-где начали вспоминать эту «личность». По телевидению и в документальных кинофильмах все чаще стали показывать, как дружно аплодирует народ при упоминании заслуг Иосифа Виссарионовича.

Тут же после падения Хрущёва были распущены совнархозы, восстановлены министерства и ведомства, расширялась деятельность всемогущего Госплана СССР и госпланов республик, постепенно свертывалась дискуссия о хозяйственной реформе и пресекались всякие попытки ее осуществления. (Реформы продолжались недолго. Они начались с 1966 года и шли до 1968 года)

Одновременно усилилась борьба с инакомыслием, начались судебные процессы над диссидентами, их присуждали к длительным срокам тюремного заключения. В это время

заклучили в лагерь со строгим режимом писателей Синявского и Даниэля, разжаловали генерала Григоренко и поместили в психушку. Психиатрические больницы стали местом наказания для отважных борцов с режимом.

В эти дни в ЦК КПСС вспомнили о непослушной парторганизации нашего института. Институт был подвергнут резкой и незаслуженной критике. В конце декабря 1971 года решением секретариата ЦК был объявлен выговор секретарю парторганизации института, которым в то время был молодой талантливый ученый Лев Васильевич Никифоров, пользовавшийся заслуженным авторитетом в коллективе. Тем же решением был снят с работы директор института член-корреспондент Лев Маркович Гатовский. Вместо него назначили активного борца с инакомыслием Евгения Ивановича Капустина. Новый директор получил от ЦК указание изменить структуру института и пересмотреть его кадры. Была объявлена всеобщая переаттестация, в результате многие заведующие отделами и секторами были смещены и заменены новыми, а часть сотрудников уволена. Капустин снял и меня с заведывания сектором и нехотя оставил старшим научным сотрудником. Я.А. Кронрода не только освободили «от должности заведующего сектором», но оставили в институте исполняющим обязанности старшего научного сотрудника. Возмутительно поступило новое руководство института с Иваном Александровичем Анчишкиным. Директор заверил его, что, хотя он достиг пенсионного возраста, он будет продолжать работать в институте до тех пор, пока сам Капустин будет в нем работать. Однако когда Иван Александрович пришел в кассу за зарплатой, кассир сказала ему: «Вас нет в списках. Вы — на пенсии». Очень скоро после этого Иван Александрович заболел и умер. У гроба стояли виновники его преждевременной смерти. Они несли «почетный караул». В стране усиливалась политическая бдительность. Все труднее становилось сказать новое слово, все правдивое вычеркивалось из рукописей книг и статей.

В это время в народном хозяйстве последовательно падала производительность труда, снижались объемы производства, хуже работали колхозы и совхозы, росли потери при сборе урожая, уменьшалось поголовье скота, хуже стал работать транспорт, увеличилось количество устаревших станков и технологий, разворовывалась государственная и кооперативная собственность, росла армия «несунов», особенно на предприятиях легкой и пищевой промышленности. Обо всех этих процессах нельзя было ни говорить, ни писать. Статистическое управление, как всегда, сообщало лживые, фальсифицированные сведения. Они должны были радовать советский народ, вселять уверенность, что успешно выполняются годовые и пятилетние планы. Помню, что за много лет до официального признания застоя мой сын, экономист, Виталий показал мне составленную им таблицу. В ней я впервые увидел, как катится вниз экономика нашей страны, как из года в год не только не выполняются планы, уменьшается национальный продукт и падает национальный доход.

Между тем, радио, телевидение, газеты, журналы изо дня в день сообщали о победах в социалистическом соревновании, победителей награждали орденами и медалями. На экранах часто появлялся добродушный и веселый Леонид Ильич, которому вручал все новые ордена, медали и знаки его друг и соратник М. Суслов.

Приемы, съезды, конференции, симпозиумы, защиты диссертаций, встречи, проводы обязательно сопровождались шумными банкетами. Всегда и везде было много водки, коньяка, шампанского, вина, превосходных закусок. Таков был общий стиль спокойного «славного» брежневского руководства. Но таким был только фасад. Миллионы людей продолжали жить в нищете. Реальная заработная плата рабочих и служащих падала, доходы многих колхозников были ничтожными. В магазинах многих городов, рабочих поселков и сел ничего нельзя было купить. В эти же годы резко усиливалось преследование инакомыслящих, диссидентов, «кле-

ветников». В газетах печатались гнусные письма, в которых осуждались Солженицын, Сахаров и их немногочисленные открытые сторонники, пополнялись лагеря, тюрьмы, психушки.

Меня два раза вызывали к секретарю партбюро. Предлагали подписать какие-то статьи против конгрессов сионистов в Брюсселе и еще где-то. Я отказался. Однажды в агентстве печати «Новости», где издавалась моя брошюра, мне предложили подписаться под версткой статьи, которая была направлена против некоторых мне неизвестных писателей Израиля: «Мы вас просим, Ефим Львович, подписать эту статью, потому что вас хорошо знают на Западе». — «Но, — ответил я, — меня знают как экономиста. Я не читал книг, критикуемых в этой статье». И не подписал. Они нашли другого человека, который подписал эту рецензию. Она появилась на страницах «Литературной газеты».

Конечно, мне нечем особо хвастать, я сделал только то, что должен был сделать каждый порядочный человек. Но мне не пришлось подписывать и другие письма — в защиту подлинных борцов с режимом, в защиту Солженицына, Сахарова, Григоренко. Правда, ко мне никто не обращался с такими предложениями, но я сам инициативы не проявлял. Наверное, страх перед репрессиями, опасения за судьбы детей и близких мешали проявить гражданское мужество. Часто вспоминал о том, что на войне я не боялся смерти, а здесь... Кроме того, я считал, а вернее того, оправдывал себя надеждой, что я еще пригожусь советскому народу тем, что смогу участвовать в преобразовании страны, в создании общества с человеческим лицом.

- К назревшим преобразованиям, мне казалось, относятся:
- отказ от порочной системы планирования всех звеньев огромного народного хозяйства, и восстановление роли прибыли как стимула развития производства;
 - отказ от порочной практики нерационального использования труда рабочих и служащих, колхозников, т.е.

содержания заведомо излишних работников. Я предлагал систему мер, направленных на обязательное высвобождение работников по мере внедрения новой техники; улучшение организации производства и труда; организацию бюро по трудоустройству, выплаты пособий по безработице;

- отказ от порочной системы уравниловки и высокой нормы эксплуатации, при которой на долю рабочих и служащих, а также колхозников приходится ничтожная часть национального дохода, не обеспечивающая прожиточный минимум. С этим связана практика фиктивного нормирования труда, массовые приписки и другие формы обмана и воровства.

Все эти предложения я постоянно и настойчиво вносил в доклады и докладные записки, которые посылал в правительство, ЦК КПСС, Госплан, ВЦСПС при подготовке материалов Института экономики к съездам партии, при подготовке пятилетних планов. Эти предложения я повторял и отстаивал в своих книгах, коллективных сборниках и статьях.

В личных доверительных беседах с ответственными работниками Совета министров, ЦК, Госплана, ВЦСПС и министерств многие из них соглашались с моими предложениями, поддерживали их. Но когда дело доходило до реализации — эти же работники сочиняли для своих шефов лживые речи, которые те произносили на съездах, печатали такие же лживые статьи в газетах и журналах. Однажды группа ученых-экономистов долго готовила статью, которую должен был подписать (он и подписал) Председатель Совета министров А. Косыгин. Более месяца мы ежедневно ходили в Кремль. Нам создали хорошие условия для работы — разместили в уютных кабинетах, сытно и вкусно кормили в совминовской столовой. Мы свободно, почти откровенно обсуждали острые проблемы, которые, по нашему мнению, должны были найти отражение в этой статье. Помощники Косыгина оказались людьми, понимающими экономические

проблемы. Но вот окончилась наша работа. Подготовленный текст передали в группу ответственных работников, в которую входили: начальник ЦСУ Старовский, директор одного из экономических институтов АН СССР Г.М. Сорочкин и заместитель председателя Госкомтруда Сухаревский. Это были осторожные и опытные чиновники. Их редакция была окончательной. Статья появилась на страницах журнала «Коммунист». В ней от наших идей и предложений, кроме общих мест и обтекаемых фраз, ничего не осталось, никаких острых проблем, все было приглажено и отполировано.

Пять лет я работал старшим научным сотрудником, пока меня вновь назначили заведующим сектором трудовых ресурсов. Под моим руководством было подготовлено несколько коллективных сборников, индивидуальных монографий, а также докладов в правительство и Госплан. Но выходили книги, статьи, отправлялись обширные и правдивые доклады, которые мы особенно тщательно и долго готовили, но ничего, буквально ничего не менялось.

Однажды я пришел в Госплан СССР, чтобы узнать судьбу очередного доклада, которому мы придавали очень большое значение и надеялись, что он сыграет большую роль. Заместителем начальника отдела труда работал один из моих бывших аспирантов. Он откровенно мне сказал, что и этот доклад, как и многие другие доклады института, лежит спокойно на полке. Надо сказать, что незадолго до моего разговора институт получил положительный отзыв и благодарность Госплана за этот доклад. Однако, как признался мой приятель, никто доклада не читал, да и не собирается читать, а отзыв написан, чтобы институт не беспокоил Госплан.

В тот день мой бывший аспирант многое рассказал мне о работе Госплана, о развале народного хозяйства, о коррупции чиновников. А потом вдруг вспомнил и с волнением прошептал: «Вся наша беседа, наверняка, полностью записана подслушивающим устройством». Мы поспешили покинуть его кабинет. Разговор продолжался в коридоре. На душе стало муторно и противно.

Хозяйство страны все более приходило в упадок. На многих предприятиях станкам и машинам перевалило за 30 и даже 40 лет; ухудшалось материальное снабжение предприятий — оно все чаще зависело от знакомств, подкупа и взяток. С каждым годом увеличивалось число рабочих, инженерно-технических работников и служащих, посылаемых райкомами в деревни на помощь колхозам и совхозам собирать урожай. Все большая площадь земли оставалась под снегом с неубранными помидорами, картошкой, капустой.

Но ухудшающееся экономическое и политическое положение СССР и всего социалистического лагеря не тревожили так называемую большую экономическую науку — многочисленную армию теоретиков политической экономии социализма и капитализма. Число этих, преданных идее социализма, деятелей с каждым годом увеличивалось. Теоретическими центрами ортодоксальной политэкономии были: Академия общественных наук при ЦК КПСС, где кафедру политической экономии возглавлял профессор И.И. Кузьминов; другой центр находился на экономическом факультете МГУ, где много лет готовил кадры политэкономов А.Н. Цаголов; третьим центром был наш Институт экономики — здесь во главе сектора политической экономии последовательно были К.В. Островитянов, Я.А. Кронрод и потом ученик Цаголова — Черковец.

Несколько слов о руководителях этих центров.

Иван Иванович Кузьминов до войны был скромным кандидатом наук нашего института. На его книгу о Тейлоре и социалистическом соревновании я в 1940 году опубликовал хвалебную рецензию, расхвалив в ней ту часть монографии, в которой шла речь о Тейлоре. Когда началась война, Кузьминов перешел на работу в ЦК партии, где он курировал экономическую науку. Во время моих командировок с фронта он дружески принимал меня в своем роскошном кабинете, знакомил с материалами ТАСС. После войны он защитил докторскую диссертацию и много лет заведовал кафедрой политэкономии Академии общественных наук,

которая готовила кадры для партийных и государственных организаций и руководителей научных учреждений. Профессор Кузьминов стоял на страже марксистско-ленинской политэкономии, следил за тем, чтобы нигде не появлялась крамола, искал и находил ревизионистов и отступников.

Николай Александрович Цаголов до войны тоже был сотрудником нашего института. Это был молодой и красивый сибарит, бонвиван, не отличавшийся работоспособностью. Поэтому директор Б.Л. Маркус его нередко ругал за бездеятельность, за нарушение сроков. В ответ Цаголов мило улыбался и обещал исправиться. Ни в ополчение, ни в армию Цаголов не пошел, а уехал в какой-то провинциальный вуз читать политэкономия. После войны мы поддержали предложение И.А. Анчишкина и небольшим большинством голосов приняли Цаголова в партию. После этого Николай Александрович преобразился — он стал одним из самых последовательных борцов с ревизионизмом и отступничеством, глашатаем командно-административной системы. Он всячески превозносил преимущества планомерности социалистического хозяйства. Закон планомерности в его учебнике, статьях и устах стал главным законом социализма. Цаголов был темпераментным оратором и полемистом, его выступления отличались страстностью и кажущейся убедительностью в защиту чистоты марксистско-ленинской политэкономии.

Между этими центрами, особенно между МГУ и Институтом экономики, шла борьба за первенство в защите «чистоты» политической экономии.

Профессор Цаголов со своей школой, по сути, отрицали возможность использования при социализме товарно-денежных отношений, закона стоимости, стояли на страже государственной, всенародной социалистической собственности. Примерно такие же позиции защищала и кафедра профессора Кузьминова.

Позиция Института экономики отличалась меньшей ортодоксальностью. В нашем институте считали, что и в

условиях социализма, хотя и ограничено, но действует закон стоимости. Все эти центры сходились в том, что у нас построено социалистическое общество, основой которого является господство государственной, а следовательно, всенародной социалистической собственности. После того как заведующим сектором стал В.Н. Черковец, в институте приступили к исследованию такой «важной» и «актуальной» проблемы — какой именно социализм построен в нашей стране, «развитой», «реальный» или «полный»? Каждый из руководителей этих центров говорил, что он первый выдвинул положение, что у нас построен развитой социализм, реальный или полный...

Однако из трех конкурирующих центров политической экономии ближе к реальной жизни была позиция Я.А. Кронрода, который отстаивал необходимость развития товарных отношений, использование закона стоимости, сочетание государственного регулирования и планирования, развития хозрасчета предприятий. Незадолго до смерти (он умер 19 августа 1984 года) Я.А. Кронрод начал писать свою, как он справедливо считал, главную книгу «Очерки социально-экономического развития двадцатого века», важнейшей частью которой стал очерк «Социализм как псевдосоциализм XX века». К сожалению, ему не удалось ее завершить. Во время наших последних бесед Яков мне говорил, что в этой книге он расстается со своими иллюзиями о социалистическом характере нашего хозяйства, о необходимости и неизбежности диктатуры пролетариата.

Два десятилетия, а точнее, восемнадцать лет во главе партии и страны находился Л.И. Брежнев. Почти всех своих соучастников по заговору против Н.С. Хрущёва Леонид Ильич одного за другим изгнал из Политбюро, заменив их еще более слабыми, но верными сподвижниками. Остался один из самых омерзительных деятелей, М.А. Суслов — идеолог партии, не допускавший никаких отступлений от сталинской генеральной линии. Он, Суслов, стремился реанимировать авторитет Сталина и его методы сохранения власти в

руках Политбюро и Секретариата. В этом он получил полную поддержку со стороны огромного и хорошо отлаженного аппарата номенклатурной бюрократии. Аппарат был кровно заинтересован в нерушимости Советского Союза и установлении сталинского «порядка». Все номенклатурные деятели глубоко ненавидели Н.С. Хрущёва за то, что он подорвал авторитет «вождя всех народов», пытался отнять и отнял некоторые блага и привилегии. Правда, после свержения Н.С. Хрущёва почти все утраченные из-за него блага были скоро восстановлены.

Захватив власть, клика Брежнева—Суслова держала ее в своих руках, как и их преемники Андропов и Черненко. Уходили одни «вожди», приходили другие, но почти ничего не менялось — ложь и демагогия, коррупция, пьянство, взяточничество, роскошная жизнь номенклатуры, жестокое преследование инакомыслящих. Все ухудшалась жизнь миллионов трудящихся в городах и деревнях.

И все же, все же мне и, наверное, многим другим моим современникам казалось, что еще не все потеряно, что еще можно что-то сделать для того, чтобы построить общество с человеческим лицом. Но для этого, думал я, надо, чтобы весь советский народ узнал всю правду о сталинщине и о брежневщине, надо менять нормы, методы, систему хозяйствования, использовать опыт других цивилизованных стран, добившихся после войны огромных успехов в воспроизводстве высококачественной продукции, и в повышении уровня жизни, и в социальной защите всех своих граждан.

Казалось, и я об этом говорил своим друзьям и сыну Виталию, что стоит устранить цензуру, предоставить печати и всем средствам информации полную свободу, допустить свободные выборы на всех уровнях, и народ сметет правящую камарилью, установит свободное демократическое общество.

Но, видимо, ни я, ни другие мои современники, в том числе и те, кто профессионально занимался экономикой, философией, юриспруденцией, не были правы. Мы напрасно

думали и надеялись, что эта сложившаяся за 70 лет система может еще как-то перестроиться и в нее можно вдохнуть новую жизнь.

К началу восьмидесятых годов приближался полный крах и провал грандиозной авантюры, затеянной Лениным и Троцким в октябре 1917 года. Тогда против захвата власти голосовали и даже выступили в печати только два человека — Каменев и Зиновьев. Кроме них, против переворота и за поддержку Временного правительства, до возвращения Ленина из эмиграции был еще один член ЦК большевистской партии — Сталин, который вместе с Каменевым тогда редактировал газету этой партии «Правду».

К большому сожалению, победили авантюристы — Ленин и Троцкий. Они надеялись, что вслед за Россией победит пролетарская революция во многих, если не во всех, странах Европы, а потом и во всем мире.

Эта авантюра очень дорого обошлась многим миллионам людей России, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польши и других стран и народов. В течение многих лет накапливались антагонистические противоречия и неприязнь народов к насильственно навязанной власти. К началу восьмидесятых годов в СССР и во всем «социалистическом лагере» как никогда обострились антагонистические противоречия между господствующими группировками, захватившими власть, и широкими массами жестоко эксплуатируемых трудящихся. Усилился экономический кризис, ибо падала производительность труда во всех отраслях хозяйства. Колхозы и совхозы не могли преодолеть продовольственный кризис. Стало очевидно, что они не способны накормить население. Одновременно с экономическим усилился кризис идейный — всему народу, не только интеллигенции, опротивела ложь господствующей олигархии. Все возрастали национальные противоречия. Попытка путем организованного антисемитизма отвлечь внимание русского и других народов от насущных нужд не дала ожидаемых результатов. Недовольство строем, шовинистической поли-

тикой стало всеобщим во всем «нерушимом союзе республик».

Возник всеобщий политический кризис.

ПЕРЕСТРОЙКА, РЕФОРМА, НАДЕЖДЫ

В апреле 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС, а следовательно, единовластным владыкой огромной страны СССР стал М.С. Горбачёв. С тех пор прошло 8 лет. Оглядываясь назад и зная, как прошли эти годы, из которых 6 лет царствовал этот человек, заняв потом и пост президента, сейчас можно более трезво судить о происшедших переменах. Перемены эти были огромны главным образом в политической жизни народов нашей страны и других стран, которые относились к, так называемым социалистическим.

Прежде всего, надо сказать о самом главном событии — к концу правления Горбачёва не стало Советского Союза: он распался на отдельные самостоятельные страны. «Социализм» в этих странах разрушился как карточный домик и тем самым обнаружил, что привнесенные на штыках и навязанные народам насильственные режимы недолговечны. По той же причине разрушилась стена, сооруженная между ФРГ и ГДР, мгновенно исчезли так называемые страны социализма Европы, — свободно вздохнули народы Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Румынии, Югославии, Албании.

В России, как во многих других бывших странах социализма, свершилась мечта лучшей части интеллигенции и других классов общества — ликвидирована цензура, печать стала свободной и относительно независимой! Так хочется сказать — дай Бог навсегда!

В эти же годы окончилась «холодная война», стали сокращаться и уничтожаться грозные термоядерные вооружения, произошло реальное улучшение отношений с народами Америки, Европы и Азии.

Все это произошло за эти пять или шесть лет правления М.С. Горбачёва и за два года, когда у власти стал реформатор Б.Н. Ельцин.

Но вот вопрос, «виноват ли» в этих огромных преобразованиях М.С. Горбачёв, получивший Нобелевскую премию мира, став неслыханно популярным в мире, и вызвавший столь большую и искреннюю ненависть всей сталинской элитной номенклатуры. На этот вопрос ответят более основательно будущие историки. Но и сейчас, как мне представляется, можно ответить отрицательно. Я думаю, что у этого человека не было никакого плана преобразования страны, когда он пришел к руководству и воцарился в кабинете, в котором долгие годы сидели Сталин, Хрущёв и другие правители.

Все, как мне кажется, началось с того, что Горбачёву, как и его предшественнику, умному жандарму Андропову, стало ясно, что страна нуждается в больших переменах: все быстрее шел процесс распада экономики, все возрастало отставание от передовых стран мира, падало производство, деградировала деревня, все больше не хватало хлеба и рос импорт зерна, сокращались запасы и добыча нефти, угля, золота. Росла армия бедных, больных, обнищавших людей.

Все эти процессы становились известны господствующему слою, руководителям многонационального государства. И хотя пропаганда по-прежнему продолжала громко кричать о «достижениях» и «преимуществах» планового хозяйства и о «подлинной демократии», которой якобы добился советский народ, — этот народ стал громче говорить, что так жить нельзя. Поэтому Горбачёв и другие руководители стали понимать, что пора вносить необходимые поправки, нужна «перестройка». Об этой назревшей необходимости стали появляться статьи в некоторых журналах, особенно в экономических и в нашем — «Вопросы экономики».

При Брежнев и его преемниках страну охватила всеобщая пьянка. Она, впрочем, началась раньше — еще при Сталине. Но в годы брежневщины она проникла буквально

во все слои общества — пили сверху донизу и снизу доверху. В этом всеобщем пьянстве некоторые «ученые» обвиняли евреев, которые, якобы, нарочито спаивают русский народ, чтобы таким путем погубить его.

М.С. Горбачёв и начал свою деятельность с провозглашения двух первоочередных задач — добиться ускорения общественного производства и ликвидировать пьянство. Конечно, ни первая, ни вторая задачи не были решены, а запрещением продажи водки, уничтожением виноградников был нанесен огромный ущерб бюджету и экономике страны.

Никаких планов коренной перестройки хозяйства в первые годы правления Горбачёва и его Политбюро не было. Нетронутой оставалась вся сложившаяся структура управления народным хозяйством и страной. Нерушимым утесом оставался стоять громадный Госплан Союза, а также госпланы всех республик, госпланы автономий и другие планирующие организации и их порождения: ежеквартальные, ежегодные и пятилетние планы, а между тем, именно система планирования, сложившаяся с первых дней Советской власти, была одной из главных причин анархии производства, всеобщего обмана и приписок.

В течение многих лет я понимал всю порочность нашего планового хозяйства. С этим, как я уже выше писал, я столкнулся сразу после окончания института при назначении на работу в финансовый отдел Наркомата снабжения СССР. Тогда, а это было в 1937 году, я впервые увидел в действии все звенья — от директора предприятия до влиятельного члена Политбюро А.И. Микояна, как они все были лично заинтересованы в том, чтобы получить план, который легко выполнить и перевыполнить, чтобы в нем предусмотрено было как можно больше финансовых средств и число работников. Я с удивлением видел, как при утверждении ежегодных планов каждый нижестоящий пытается обмануть вышестоящего руководителя с тем, чтобы потом жить спокойно, получать денежные премии и ордена за выполнение и перевыполнение этих планов.

Другим крупным пороком директивного планирования была «борьба» за выполнение плановых заданий в срок или досрочно. Во имя этого людей заставляли работать круглосуточно, часто без выходных дней, шли на любые материальные и людские затраты, пренебрегали техникой безопасности и охраной труда. Понятно, что в результате страдало качество воздвигаемых сооружений, изготавливаемой продукции, страдали люди. Конечно, в годы войны такая мобилизация всех сил и резервов во имя обороны, во имя победы была оправдана, но в большинстве случаев она приводила к пагубным и даже трагическим последствиям.

В 1986 году я решил, что сейчас уже можно почти полным голосом сказать правду о порочности всей системы планирования. Об этом я написал в статье «Пути перестройки хозяйственного механизма». Новый директор Института экономики Л.Н. Абалкин одобрил мою статью, и благодаря его активной поддержке мне удалось ее опубликовать в «Вопросах экономики». К этому времени прошел XXVII съезд партии, на котором с программным отчетным докладом выступил М.С. Горбачёв. В нем речь шла о том, что в новой пятилетке в 1985–1990 гг. надо опять «совершенствовать планирование, экономическое стимулирование и управление». Я же считал, что невозможно добиться каких-либо успехов в развитии народного хозяйства, не избавившись от не оправдавшей себя системы планирования.

Помню, когда я закончил писать эту статью в доме отдыха «Поречье» и поделился своею «крамольной» мыслью со своим сослуживцем по институту, бывшим работником Госплана, доктором экономических наук Б.М. Смаховым, он был крайне возмущен этим покушением на одно из главных «преимуществ» социализма.

В той статье я писал о порочности планирования «от достигнутого уровня», которая, в свою очередь, обязательно порождает сокрытие имеющихся резервов, подрывает и мешает развитию инициативы и предприимчивости. В статье освещались и другие вопросы, в том числе о путях

коренного улучшения использования трудовых ресурсов, об отказе от многочисленных «показателей», об использовании важнейшего стимула – прибыли и др.

Рассказывая здесь об этой статье 1986 года, я вовсе не хочу сказать, что она сыграла особую роль в той хозяйственной реформе, о которой так много писали в 1985–1990 годах, а фактически начали осуществлять только тогда, когда сменилось правительство Горбачёва–Рыжкова. Но основные ее идеи, также как и других экономистов, в конце концов, нашли какое-то отражение в реформе, начавшейся уже после распада СССР. В России и других странах СНГ, то есть в реформе, есть и моя лепта.

В годы перестройки все чаще появлялись в газетах и журналах статьи, воспоминания, документы, раскрывающие правду о политической и экономической системе СССР с первых дней Октябрьской революции. Как бурная река во время весеннего половодья прорывает плотины, так прорвалась и правда в нашей закрытой стране-тюрьме. Дожини выходил на свободу и сметал на своем пути ложь, обман, клевету. Самыми читаемыми стали газеты «Известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московские новости», «Московский комсомолец»; журналы «Огонек», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Нева». Смелее стали журналы общественных наук: «Вопросы экономики», «Вопросы философии», «Вопросы истории», и даже бывший «Коммунист». Сторожевыми псами оставались органы ЦК КПСС – насквозь лживые «Правда» и «Советская Россия». Каждый день по утрам выстраивались длинные очереди к газетным киоскам. Это была подлинная революция в средствах информации, о которой еще недавно не смели даже и мечтать.

В конце 1986 года стало известно, что один из честнейших и смелых борцов за свободу и демократию, самозабвенный защитник всех преследуемых, Андрей Дмитриевич Сахаров вернулся в Москву! Что только ни лгали о Сахарове, как только не оскорбляли его, какие только письма ни печат-

тали в центральных газетах, а подписывали их его соратники — крупные ученые страны. Многие люди верили в эту клевету. Мой приятель фронтовик, полковник верил, что Сахаров призывал американцев сбросить бомбу на СССР. Мне так и не удалось его в этом разубедить.

И вот Сахаров на свободе, Сахаров снова в Москве, в Академии наук, и опять требует освобождения тех, кто томится в тюрьмах, в ссылке, в лагерях, в психушках.

О Сахарове вновь заговорили в Москве и в стране, когда начались выборы в Верховный совет СССР. Для того, чтобы не рисковать при выборах, не оказаться забаллотированным, учитывая, что авторитет партии коммунистов резко упал, ЦК КПСС решил обезопасить себя. Поэтому в Законе о выборах было предусмотрено, что наряду с выборами по избирательным округам, где население тайным голосованием избирает депутатов, некоторые «общественные» организации получили право выбирать депутатов из своего состава. Такое право получили прежде всего (для этого и было все придумано) Центральный Комитет КПСС, а также ВЦСПС, Президиум Академии наук СССР и некоторые другие организации. В список ЦК КПСС была включена вся партийная верхушка, члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, руководители важнейших ведомств, а также некоторые писатели и ученые. Не было сомнения, что все, кто попал в этот список, будут избраны при «тайном» голосовании, в котором участвовали только члены и кандидаты в члены ЦК КПСС.

Что же касается списков от других ведомств, то ЦК КПСС, тогда еще «руководящая и направляющая» сила, рассчитывал избрать только тех, кто, по их представлению, заслуживает доверия партии. В большинстве случаев так оно и получилось. Но кое-где эта многократно проверенная практика дала осечку и провалилась. Такая осечка произошла в Академии наук. Здесь выборы сначала прошли, как и хотели аппаратчики ЦК КПСС, — выбрали послушных, нужных, безопасных. Не выбрали, провалили таких людей, как академики Сахаров и Лихачев. Оказалось, что именно они

не смогли получить необходимое количество голосов. За них проголосовало меньше академиков, чем за таких деятелей науки, как Федосеев, Марчук и других, ничем не примечательных людей. Таким образом, Председатель избирательной комиссии АН СССР академик Кудрявцев успешно выполнил поручение ЦК КПСС. В прежние времена тем выборы бы и окончились. Но сейчас, оказывается, настало другое время — джинн ведь выскочил из бутылки. Новость о том, что Сахарова забаллотировали академики, моментально облетела все институты Академии наук. К Президиуму пришли тысячи ученых. Они провели митинг протеста. Это был, кажется, первый митинг за годы Советской власти, где ученые посмели сказать правду, ученые не признали результатов голосования и требовали новых выборов. Руководители Академии долго не выходили к митингующим — растерялись. Может быть, советовались со Старой площадью. Собравшиеся приняли резолюцию — провести новое голосование. Здесь же было принято решение: избрать во всех институтах тайным голосование по три выборщика, которые должны участвовать в избрании депутатов вместе с членами Президиума Академии наук.

Во всех институтах прошли собрания, на которых выдвигались кандидатуры для голосования и избирались выборщики. Перед голосованием они должны были изложить свою точку зрения на события, связанные с выборами.

Такое собрание прошло и в Институте экономики. Накануне дирекция и партбюро наметили трех кандидатов в выборщики, но собрание дополнило этот список еще шестью учеными. В этот дополнительный список включили и меня. При тайном голосовании ни один из тех, кого предварительно наметили, не прошел, избрали трех докторов наук — В.Н. Богачева, С.С. Дзарасова, Е.Л. Маневича. Наша позиция была определенной — будем голосовать за Сахарова и Лихачева. Аналогично проходили выборы и в других институтах. Например, в Институте мировой экономики избрали моего друга и единомышленника Я.А. Певзнера и

В.А. Шейниса, в институте Истории естествознания и техники — другого моего приятеля, М.Г. Ярошевского.

Кандидатуру Андрея Дмитриевича Сахарова поддержали более 60 институтов Академии наук. Потом началась настойчивая и упорная борьба выборщиков за отмену результатов первых выборов и проведение новых. Мы собирались на совещания, встречались с руководителями Академии наук, которые пытались нас уговорить, что избраны хорошие, прогрессивные деятели. Мы же старались убедить ученых голосовать за А.Д. Сахарова, Лихачева и молодых ученых.

Наконец, выборы состоялись. Большинство голосов собрали на этот раз академики Сахаров, Лихачев, Сагдеев, Арбатов. Кроме того, избрали нескольких профессоров и докторов наук, в их числе Шмелева, Бунича и некоторых других.

Это была наша большая победа: Сахаров стал депутатом Верховного совета СССР.

Назавтра после этих выборов я, как в течение двадцати двух лет, утром побежал в лес, а на обратном пути задумался о возможных последствиях этой победы и попал под колеса автомобиля. Несколько месяцев после этого лечился в больнице, а потом долго учился ходить.

В майском номере журнала «Вопросы экономики» вышла моя статья «Основной принцип социализма и перестройка хозяйственного механизма». Против нее выступил член редколлегии А.А. Сергеев. (Это он позднее был выдвинут в вице-президенты России в одной упряжке с кандидатом в президенты генералом Макашовым.)

Статья, конечно, не могла понравиться приверженцам Сталина. В ней говорилось, что в СССР никогда не осуществлялся принцип социализма, который и не мог осуществляться в стране, где благодаря насильственной коллективизации и разорения крестьянства были подорваны основные устои веками сложившегося добросовестного отношения к труду миллионов людей. Что в СССР из-за массовых репрессий страна потеряла миллионы людей, обладавших

огромным творческим потенциалом — ученых, писателей, работников культуры и искусства, крупных хозяйственных и военных деятелей, высококвалифицированных рабочих и интеллигентов. Что большой урон был нанесен стране проводимыми, по злой воле Сталина, преступными выселениями целых народов: калмыков, чеченцев, ингушей, немцев, крымских татар, балкарцев, карачаевцев, кавказских турков, корейцев, чеченцев Дагестана, приморских греков, болгар, курдов. Что, по инициативе Сталина и его соратников, проводились массовые кампании проработок деятелей науки и культуры: экономистов, историков, генетиков, математиков-кибернетиков, языковедов, композиторов, литераторов, критиков и др. Что проводилась во все годы советской власти такая кадровая политика, при которой игнорировались личные способности человека, выдвижение специалистов зависело от социального происхождения, национальности и партийности. Что большее значение приобретало отношение к номенклатуре, которая формировалась по мотивам личной преданности, родства, знакомства, дружбы, социальной близости, совместного участия в коррупции и других нарушениях уголовного кодекса. В статье вновь говорилось о необходимости использовать прибыль как важнейший стимул и мотив труда и о назревшей задаче реформы всей заработной платы в стране.

В многочисленных выступлениях М.С. Горбачёва все чаще и больше повторялись призывы о необходимости перестройки народного хозяйства и коренных перемен в политической и экономической жизни страны. В Совете министров СССР создали новый отдел, который и должен был подготовить экономическую реформу. Заведующим этим отделом назначили директора нашего Института экономики Л.И. Абалкина, он же одновременно стал заместителем председателя Совета министров СССР.

К Леониду Ивановичу я всегда относился с большим уважением и личной симпатией. Впервые мы познакомились после того, как совершенно неожиданно для себя,

как я уже писал, прочел положительную рецензию на мою книгу «Проблемы общественного труда в СССР», которая была опубликована в журнале Александра Твардовского «Новый мир». Под рецензией стояла подпись: кандидат экономических наук Л. Абалкин. Это было в 1967 году. Потом об Абалкине я слышал хорошие отзывы многих знакомых экономистов. Мне рассказывали о том, что он занимал прогрессивную позицию в Институте народного хозяйства им. Плеханова, где работал заведующим кафедрой, о том, что он вступил в борьбу с реакционным ректором института и даже был вынужден перейти на другую работу.

Я, как и многие другие сторонники реформы, очень обрадовался назначению Абалкина в Совет министров. Казалось, вот-вот она начнется, эта давно назревшая реформа. Я несколько раз приходил к Абалкину, который оставался и нашим директором. Мы говорили с ним о реформе. Вначале он не только внимательно выслушивал меня, но и полностью соглашался, когда я говорил о том, что реформу необходимо проводить немедленно, пока народ еще верит, что правительство на самом деле хочет ее осуществить. Леонид Иванович поддержал мои предложения о том, что надо сейчас же подготовиться к легализации безработицы, ибо большая часть безработных перейдет из скрытой в явную. Тогда же я написал об этом докладную записку на имя председателя Совета министров СССР.

Мой доклад Н.Н. Рыжков направил председателю Госплана и председателю Комитета по заработной плате и социальным вопросам для подготовки постановления. Вскоре после этого было принято решение Совета министров СССР об улучшении использования трудовых ресурсов, в котором впервые были установлены выплаты пособий по безработице.

Л.И. Абалкин был согласен и с другими моими предложениями — о назревших изменениях в распределении и использовании прибыли, в ведении выплат предприятиями подоходного налога в госбюджет.

Однако шло время, а о реформе продолжали много говорить, много писать, но и только: никаких существенных изменений не происходило, за исключением блестяще проведенного Л.И. Абалкиным на Верховном совете Закона о развитии кооперации.

Вдруг в своих многочисленных интервью, выступлениях по телевидению, радио и статьях Леонид Иванович стал говорить совсем иначе. Он стал говорить о том, что реформа не может быть проведена быстро, что для ее осуществления потребуются годы и годы, когда изменится психология руководителей предприятий, инженеров и рабочих, а пока еще наш народ к ней не готов.

Я понимал, что новые акценты в выступлениях Абалкина не случайны. Они, видимо объяснялись тем, что ни правительство Рыжкова, ни ЦК КПСС не хотят, или считают, что невозможно, сейчас отказываться от так называемых «преимуществ» социалистического планового хозяйства. Видимо «номенклатура» была сильно обеспокоена и испугана той лавиной правды, которая неслась на нее со всех сторон. Печать, еще недавно «самое острое орудие партии», все больше стреляла по самой партии, раскрывала перед всем народом многое, что, казалось, было прочно и навеки закрыто. Народ узнавал истинную цену коллективизации и индустриализации. Люди узнали о тех, кто был уничтожен без суда и следствия по спискам, подписанным «вождями». Узнавали все новые и новые подробности о лагерях, в которых трудились, мучились и умирали ни в чем не виновные люди.

Вот почему, когда слушали или читали торжественный юбилейный доклад к семидесятилетию октябрьской революции, с которым выступил М.С. Горбачёв, уже мало кто верил его словам о том, как удачно под руководством Сталина партия осуществила коллективизацию сельского хозяйства и индустриализацию страны.

Я тогда думал, что, может быть, Горбачёв произносит эти лживые слова потому, что боится своих соратников-сталинистов Чебрикова, Лигачева, Громыко и других. Так, наверное,

и было. Но, кроме того, оказалось, что Горбачёв тогда и сам не дозрел до понимания правды, еще не отошел от стереотипов социалистического мышления. К этому времени, как мне кажется, большая часть народа, и прежде всего интеллигенции, лучше понимала свершающиеся перемены, чем руководители партии и правительства и чем Горбачёв, которому приписываются эти перемены. Стало ясно, что и этот деятель хочет добиться лишь «ускорения производства» и ограничиться поверхностным залатыванием прорех, а перемены, происходящие в стране и других странах, совершаются вопреки его воле и желанию, хотя они ошибочно приписывались ему, молодому Генеральному секретарю ЦК КПСС.

Крупным событием тех лет был Первый съезд народных депутатов СССР, который открылся в мае 1989 года. Все, что происходило тогда на съезде, видели все телезрители. Уже с первых минут, с момента открытия съезда было видно, что он совсем не похож на прежние до зевоты скучные, безликие, единодушные сессии Верховного совета СССР и союзных республик. Споры, дискуссии на съезде начались тут же после его открытия, когда обсуждалась повестка дня. На съезде появились люди, личности с собственным мнением, отличающимся от мнения тех, кто подготовил заранее сценарий съезда, кто дирижировал им.

Хотя всем было известно, что за повесткой дня и за кандидатурами лиц, которые должны войти в Президиум Верховного совета и стать во главе комитетов и комиссий стоит Политбюро ЦК КПСС, тем не менее, весь дух съезда изменился. Это объяснялось, прежде всего, тем, что в составе депутатов этого съезда появился Человек-легенда, скромный с тихим голосом и старческой походкой, Человек, которого власть имущие не хотели допустить сюда, но которого хотели видеть и слышать миллионы людей, и прежде всего прогрессивная часть советской интеллигенции.

Этим Человеком был Андрей Дмитриевич Сахаров, за избрание которого мы, выборщики, боролись несколько месяцев. Один Человек, а оказывается, как это много, если

это слово пишется с большой буквы! Влияние Сахарова на съезд было поистине огромным, и когда он говорил, и когда молчал, и только был здесь в зале заседаний. Рядом с Сахаровым появились люди, личности, которые, как оказалось, имели собственное мнение и суждения, а не выполняли «установки», поступающие «сверху». Только на этом съезде хорошо отлаженная машина впервые стала заметно буксовать. Сопротивление оказал не только Сахаров, но и другие народные избранники: Алексей (Алесь) Адамович, Юрий Афанасьев, Юрий Карякин, Юрий Калинин, Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Николай Шмелев, Алексей Емельянов, Юрий Черниченко, Егор Яковлев, Татьяна Заславская и другие. Именно на этом съезде впервые была создана оппозиционная межрегиональная группа, во главе которой были избраны сопредседатели: А. Сахаров, Ю. Афанасьев, Б. Ельцин, Г. Попов, Пономарев.

Выступление Сахарова и других демократов слушали миллионы людей по радио и телевидению. Слушали и видели и тех, кто с нескрываемой ненавистью смотрел на смелых представителей оппозиции. Так было при обсуждении повестки дня, выборах из состава съезда депутатов Верховного совета. Впервые «проводникам» линии партии пришлось отступить от решения Политбюро, в котором было предусмотрено ни в коем случае не допустить в Верховный совет человека, единодушно избранного всеми москвичами, — Бориса Николаевича Ельцина. Такое решение Политбюро было нелепым и глупым. Борис Николаевич Ельцин был избран единственным депутатом в Совет национальностей от Москвы. Он был избран, несмотря на все, что делали руководители КПСС, чтобы провалить его избрание. И вот сейчас, на съезде опять, как слепые самодуры, руководители партии старались не допустить этого всенародно избранного депутата в состав Совета национальностей! Это же надо было додуматься до такой глупости — обойтись без представителя от Москвы! Наверное, в недавнее время и это безумное решение могло осуществиться. Но на этот раз так не полу-

чилось. Правда, сначала дисциплинированные и послушные депутаты-коммунисты, как и было им приказано, забаллотировали Ельцина.

Не знаю, поняли ли организаторы-аппаратчики ЦК КПСС, какую глупость они допустили, но смотреть на этих депутатов было не только стыдно, но и противно. А ведь Генеральным секретарем в это время был «великий реформатор и демократ» Горбачёв! Выручил съезд депутат от Сибири Алексей Казанник. Он предложил снять свою кандидатуру при условии передачи его мандата Б.Н. Ельцину. Это был выход, и большинство депутатов встретили предложение Казанника аплодисментами.

Поистине огромное значение имели выступления на съезде А.Д. Сахарова. Уже при обсуждении повестки дня Сахаров внес предложение обсудить «Декрет о власти», в котором предлагалось отменить статью шестую Конституции СССР о «ведущей и определяющей роли коммунистической партии». Это предложение тогда встретило решительное несогласие большинства съезда. Но мысль о необходимости отказа от этой статьи Конституции овладела депутатами. Сначала это требование было записано в программном документе Межрегиональной группы, а затем поддержано прогрессивной печатью, а потом многими депутатами на II съезде Совета. На нем около 60% депутатов голосовало против отмены этой статьи. Однако через 2 месяца после окончания IV съезда на февральском Пленуме ЦК КПСС почти единогласно было принято решение об отмене шестой статьи. Это произошло потому, что решению Пленума предшествовала полумиллионная демонстрация демократов Москвы и распад социалистического лагеря в европейских странах.

Осуществлены были и другие предложения Сахарова, содержащиеся в его проекте «Декрета о власти»: об избрании и отзыве высших должностных лиц, которые подотчетны съезду и независимы от решений КПСС; о том, что «комиссии и комитеты для подготовки законов о Государственном бюджете и других законов и для постоянного контроля за

деятельностью государственных органов над экономическим, социальным и экологическим положением в стране — создаются съездом и Верховным советом на паритетных началах и подотчетны съезду» и другие.

Но когда А.Д. Сахаров внес этот проект (а он вносил его дважды), он не только не был принят, но едва был заслушан. В своей последней речи на съезде Андрей Дмитриевич сказал: «Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать Декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому, как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от вопроса об ответственности за афганскую войну».

Да, это была позорнейшая акция, затеянная тогдашними руководителями партии и правительства. Я и тогда, когда смотрел по телевидению грубое, жестокое нападение на непослушного и опасного академика-депутата Сахарова, думал, что в подготовке и проведении спектакля большую роль играл заместитель Горбачёва по Верховному совету Лукьянов. Мне тогда не ясна была роль Горбачёва, а скорее всего мне не хотелось думать о нем плохо. Но сейчас все стало ясно и понятно, Горбачёв и тогда старался спрятаться за спинами других, чтобы выглядеть либеральным демократом.

В тот день, а это было 2 июня 1989 года, к трибуне съезда помогли пройти тяжелораненому (на протезах) депутату, секретарю Черкасского горкома комсомола Червонописскому, который зачитал заранее подготовленное обращение к Президиуму съезда группы офицеров воздушно-десантных войск, в котором обвинялся А.Д. Сахаров за интервью, данное канадской газете. В том интервью Сахаров сказал, что во время афганской войны с советских вертолетов расстреливали попавших в окружение своих же солдат, чтобы те не могли сдаться в плен. В обращении офицеров говорилось: «Мы до глубины души возмущены этой безответственной провокационной выходкой известного ученого и расцениваем его необоснованное обвинение как злонамеренный выпад

против советских Вооруженных сил. Рассматриваем их дискредитацию как очередную попытку разорвать священное единство армии, народа и партии. Мы восприняли это как унижение чести и достоинства и памяти тех сыновей своей Родины...».

В этой же «пламенной» речи депутат взял под свою защиту афганцев-десантников, убивших 16 человек во время разгона демонстрации в Тбилиси. Эту трагедию он назвал «позорной и постыдной провокацией против армии», совершенной грузинами. После речи Червонописского Сахаров медленно идет к трибуне и тихим голосом, как мне казалось, очень спокойно говорит: «Я меньше всего желал оскорбить Советскую армию, советских солдат, которые защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне. Но когда речь идет об афганской войне, то я опять же не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь и героически выполнял приказ... Не об этом идет речь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной авантюрой, предпринятой неизвестно кем, и неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление... Это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев, против целого народа велась война на уничтожение, миллион человек погибли. И это то, что на нас ляжет страшным грехом, страшным упреком. Мы должны смыть именно этот позор, который лежит на нашем руководстве, которое вопреки народу, вопреки армии совершило этот акт агрессии... Я выступал против введения советских войск в Афганистан и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной, и я горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил. Это первое, что я хотел сказать. А второе, тема интервью была совсем не та, я это уже рассказал в «Комсомольской правде».

Эта честная речь Сахарова все время прерывалась шумом, криком делегатов и «гостей», видимо, специально приглашенных для этих криков и шума. Сахарова согнали с трибуны. И Сахаров, по словам Собчака, уходил с трибуны

понурым, почти сломленным. Я, как и миллионы зрителей, смотрел, не отрываясь, и мне тогда не казалось, что Сахаров ушел сломленным. Да и не мог он сломаться после того, как его так хорошо закалили в ссылке, во время голодовок в советских больницах.

На трибуну поднимались один оратор за другим. И все они истерически кричали, поносили и проклинали этого Человека. Вот они, эти ораторы: полковники Очиров, Якушин, начальник Генерального штаба Советской Армии в годы Афганской войны, директор совхоза Поликарпов. Все говорили примерно так, как сказала учительница Казакова из Томской области: «Товарищ академик! Вы своим одним последним поступком перечеркнули всю свою деятельность... Вы нанесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим, которые отдали свои жизни, и я высказываю всеобщее презрение, вам стыдно должно быть». И эту, как и все другие подобные речи, съезд покрыл бурными аплодисментами.

Описывая события этого дня, Анатолий Собчак в своей книге отмечает: «В тот день председательствовавший Анатолий Лукьянов справиться с залом после выступления Червонописского явно был не в состоянии. А что Горбачёв? Сидел, обхватив голову и закрыв ладонями лицо. Впервые он не мог остановить цепной реакции беснующейся ненависти. Я старался не смотреть в его сторону!»

Я никак не могу согласиться с этим наблюдением депутата Собчака. У меня нет никаких сомнений в том, что Лукьянов не собирался остановить этот поток ненависти, ибо он руководил и дирижировал этим потоком. Разве он не мог дать слово оратору, понимающему, что происходит на съезде, и разве он сам не мог сказать что-либо в защиту этого чистого Человека. Нет, не хотел этого сделать Лукьянов. Вполне мог, если бы хотел, вмешаться сидящий рядом с председательствующим Горбачёв. Не вмешался, не защитил потому, что, видимо, и он участвовал в этом гнусном «спектакле».

С другим наблюдением Собчака я согласен: «Удар был столь не точен, сколь и подл. И он почти достиг цели: зал на несколько минут превратился в бешеную, улюлюкающую толпу, в единую безобразную волну невежества и ярости. И один на один с этой ревущей силой был человек, у которого в этот миг оказались связаны руки. Человеком этим был Сахаров. Действительное отношение Горбачёва к депутату Сахарову полностью проявилось, когда он сгонял академика с трибуны, приказал выключить микрофон во время последней речи, направленной против «итогового документа съезда». Тогда Сахаров говорил: «Я считаю, что съезд не решил стоящей перед ним ключевой политической задачи... съезд отказался даже от обсуждения «декрета о власти».

По вине Горбачёва миллионы людей тогда не смогли услышать, что хотел сказать в своей последней речи этот ни на кого не похожий депутат, замечательный Человек нашей страшной бесчеловечной эпохи. Не услышали только потому, что «реформатор» Горбачёв выключил микрофон.

Между тем А.Д. Сахаров хотел сказать о том, что «уже давно нет опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше, чем у США и Китая, вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава, с перспективой перехода к профессиональной армии... Надо демобилизовать к началу учебного года всех студентов, взятых в армию год назад... Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик... Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматично выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвой явились большие народы, в том числе рус-

ский народ, на плечи которого лег основной груз амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике... Важнейшей проблемой национальной политики является судьба насильственно переселенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, турки-месхи, ингуши и другие должны получить возможность вернуться к родным местам.

Съезд должен, по моему мнению, принять постановление, содержащее принципы правового государства. К этим принципам относятся: свобода слова и информации, возможность судебного оспаривания гражданами и общественными организациями действий и решений всех органов власти и должностных лиц... Съезд не может сразу разрешить насущные проблемы, не может сразу ликвидировать бюджетный дефицит, не может сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но создание политических гарантий решения этих проблем — это то, что он обязан сделать. Именно этого от нас ждет страна! Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы должны занять политическую и нравственную позицию, соответствующую принципам интернационализма и демократии. В принятой съездом резолюции нет такой четкой позиции. Участники мирного демократического движения и те, кто осуществляет над ними кровавую расправу, ставятся в один ряд... В этих условиях необходим отзыв посла из Китая!»

Вся эта программа не была тогда услышана ни съездом, ни народом потому, что мысли, предложения, требования депутата Сахарова находились в полном противоречии с политикой партии и председательствующего. Генсек приказал выключить микрофон.

Съезд стал богат событиями. Это объяснялось тем, что на глазах всего народа страна преобразилась — из закрытого мрачного лагеря, в котором ничего нигде не случалось: не было ни катастроф, ни убийств, ни землетрясений, — вдруг с появлением гласности стало известно о многих ранее невозможных и небывалых событиях.

Одним из таких событий был разгон демонстрации в Тбилиси. Оказывается, что войска, разгоняя людей, собравшихся на площади, убили 16 человек. Сначала сообщили, что толпа якобы сама подавила своих граждан. Потом стало известно, что солдаты били железными лопатами и по головам и применили отравляющие газы. Долго оставалось неизвестным, кто же отдал приказ о введении войск, о разгоне демонстрации, кто повинен в смерти тбилисцев.

Комиссия по расследованию событий в Тбилиси, которую возглавил депутат Собчак, установила, что виновниками этой акции были члены Политбюро, а генералы лишь исполнители их воли, их решения. Не мог не знать об этом, конечно, и генсек, но об этом стало известно не сразу. Комиссия Собчака утверждала, что «одним из главных виновников убийства был Е.К. Лигачев».

Но вслед за Тбилиси кровавые расправы с народом были учинены в Баку и в Литве. Везде был один и тот же почерк с одинаковыми задачами — запугать, усмирить, «навести порядок»... Когда появились сообщения о вводе войск в Баку, я, в отличие от многих моих друзей, которые считали, что солдаты вводятся туда для спасения избиваемых армян, был уверен, что эта жандармская акция затеяна для разгрома азербайджанского Народного фронта. Прошло немного времени, и «Московские новости» опубликовали заключение независимого расследования январских событий 1990 года в Баку, где было сказано, что войска были брошены, когда погромы армян уже закончились, и что танки и бронетранспортеры ворвались в город только ради карательной акции.

Вот что опубликовали 12 сентября 1990 года «Московские новости»:

— в ходе введения чрезвычайного положения в Баку имели место: расстрелы людей на месте в упор с особой жестокостью. Расстрелян автобус № 39 «Икарус» вместе с пассажирами, в том числе детьми;

— умышленные наезды танков и БТР на легковые машины и убийство находившихся в них людей;

— обстрел больниц, машин «скорой помощи». Например, танками обстреляны машины «скорой помощи» 67-50АГП, 67-51 АГП, 39-97 АТС, убит врач А. Мархевка;

— использование пуль из автоматов Калашникова калибром 5,45 со смещенным центром тяжести, которые при попадании в тело изменяют направление движения. Такая пуля не просто выводит человека из строя, а многократно увеличивает его страдания;

— мародерство, грабеж квартир и граждан, оскорбление задержанных, унижение их человеческого достоинства.

Комиссия независимых следователей пришла, к выводу, что в январе 1990 года в Баку были совершены военные преступления и потребовала возбудить уголовное дело против министра обороны Д. Язова.

Но, как известно, ничем это расследование, как и публикация статьи в «Московских новостях», не кончилось. Ведь Язов действовал, конечно, по решению Политбюро ЦК КПСС.

А потом была кровавая ночь в Вильнюсе, когда десантники вместе с сотрудниками КГБ штурмовали литовское телевидение и убили 14 безоружных литовцев. Это убийство совершилось во имя того, чтобы сохранить единство Советского Союза, не дать распасться «Союзу нерушимому республик свободных».

Во всех этих кровавых акциях в апреле 1989 г. (в Тбилиси), в январе 1990 г. (в Баку) и в январе 1991 г. (Вильнюс) якобы вовсе не участвовал и даже ничего не знал о них «миротворец», президент и Генеральный секретарь Горбачёв. Все больше людей стало понимать, что стоящая у власти номенклатура перепугалась за свою власть, за свои привилегии и будущность.

Страна узнала подробности о сговоре Сталина и Гитлера, о пакте «Молотов—Рибентроп» и вытекавшего из него «добровольного» присоединения к СССР прибалтийских стран, разделе Польши, о зверском расстреле пленных польских офицеров, о присоединении западных областей Украины и Белоруссии и многом другом, что хранилось в глубокой

тайне от народа. Тайное стало явным, и люди всех республик узнали о том, как они были насильственно сведены в тот «добровольный» союз. В это же время рухнула стена в Берлине, приобрели независимость Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния.

Но наши правители никак не хотели сдаваться, они, как говорил генсек-президент, «сохранили свою приверженность социализму» и единому Советскому Союзу. Вот во имя этой «глубокой приверженности» номенклатуры и были затеяны кровавые акции.

Но это было лишь начало. Политбюро готовилось к грядущим боям, к решительному повороту назад — к старым добрым временам своего безоблачного господства. Эта подготовка велась весьма оперативно. На ведущие посты представлялись «свои люди», готовые к практическим действиям, очередному перевороту. Вот почему на пост нового премьера назначили Павлова, человека самых реакционных взглядов. Одно из первых его заявлений в качестве Председателя Совета министров было таким: «Система наша хороша, дело в подборе людей-руководителей». Очень настойчиво просил Горбачёв депутатов Верховного совета голосовать за избрание вице-президентом Янаева. Депутаты его забаллотировали. Президент снова и снова просил депутатов голосовать за этого человека, которому он полностью доверяет.

И на других ответственных постах, весьма важных при перевороте, находились «верные сыны партии»: в КГБ — Крючков, в армии — Язов.

Все эти деятели не скрывали свои настроения и чувства.

На закрытом заседании Верховного совета они предлагали ввести чрезвычайное положение. О «приостановке» закона о печати высказался и президент.

Шла подготовка к перевороту, военному путчу. Я это видел и чувствовал. В то утро 19 августа 1991 года я плавал в пруду в зоне отдыха. Какой-то пловец громко и радостно сообщил, что, наконец, с сегодняшнего дня в стране будет установлен «полный порядок».

Я побежал домой к телевизору. Все стало ясно: мечта сталинистов начала осуществляться. В то утро ко мне пришли мои два внука, Лука и Ефим, которые оба, не стоворившись между собой, ушли к Белому дому и двое суток были там с другими его защитниками. К счастью, путч был подготовлен плохо. Видимо, проводился он нерешительно, а его организаторы, встретив неожиданное сопротивление, отступили. Но об этом все знают. Для меня до сих пор не ясна роль в перевороте самого президента. Я, как и многие другие люди, надеялся, что все станет ясно в результате судебного следствия по делу ГКЧП. Но вот прошло два года, а процесс все откладывается. Значит, есть реальные силы, которые в этом заинтересованы.

Но я, надеюсь, народ узнает правду и об этом событии.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В МОСКВЕ

Еще в 1990 году я перестал платить партийные взносы. Незадолго до этого ко мне пришла делегация от группы коммунистов, которые просили меня снова стать секретарем партийной организации института. Я отказался, уже произошли события в Тбилиси и Баку. Генсек все чаще отходил от своих обещаний перестройки и демократии, все больше и больше склонялся вправо.

Когда прозвучали выстрелы наших солдат в Вильнюсе, я твердо решил выйти из КПСС. Встретив тогдашнего секретаря М.И. Воейкова, я ему сказал о своем решении. Он ответил: «Напрасно вы, Ефим Львович, так решили. Может быть, это стреляли вовсе не солдаты Советской армии, может быть, это была провокация самих литовцев?!»

Я высмеял его аргументацию и подумал, что он, видимо, повторяет официальную версию, ведь и Горбачёв сказал, что он ничего не знал ни о создании в Вильнюсе организации «национального спасения», ни о действиях КГБ и армии, ни об убитых и раненых. Известно, что в ту ночь руководите-

ли литовского правительства и парламента не могли дозво- ниться к Президенту СССР. Президент, министр обороны, министр внутренних дел и председатель КГБ заявили, что в пролитой крови повинны сами литовцы и кто-то из рядовых командиров, самовольно учинивших расстрел мирных граждан. Я не сомневался, что все эти слова и версии ничего не стоят. Без решения Политбюро и его генерального секретаря в нашей стране ничего не делается, ни один генерал, ни один министр не посмеет и пальцем пошевелить, никаких приказов военный министр не отдаст, не получив приказ Верховного главнокомандующего, то есть генсека и президента.

Я ушел из партии, в которой состоял 50 лет.

Кончились надежды на развитие реформы. О ней продолжали много говорить, но ничего не делалось для ее практического осуществления. «Пеклись» законы в Верховном совете, но они обходили главные задачи: введение и легализацию частной собственности на землю и на предприятия, не принимались законы о приватизации, безработице, изменении налоговой политики и другие. На Ученом совете нашего Института обсуждались доклады и докладные записки правительству, но они оставались лежать на полках.

В эти дни я писал свою последнюю прощальную статью «Заработная плата в условиях рыночной экономики». В ней мне хотелось сказать все, что я думал о ходе реформы, о характере так называемой социалистической экономики, об ошибках, заблуждениях экономистов, в том числе и моих.

В ней не было ни одной фальшивой мысли, ни одной лживой строки в угоду принятым штампам и трафаретам. К этому времени фактически уже не было цензуры, и вместе с ней исчезла и самоцензура. Я позволю себе привести несколько цитат из этой работы: «В настоящее время для большинства трудящихся нашей страны стало бесспорным фактом, что централизованная административно-командная система планирования и управления хозяйством себя не оправдала. Она не только не выдержала соревнования с

экономикой капиталистических стран, но привела страну к катастрофическому положению.

Радикальная реформа призвана осуществить всестороннюю революционную перестройку всей экономической, политической и социальной жизни страны. Однако она протекает очень медленно, при огромном сопротивлении бюрократического аппарата, долгие годы стоявшего во главе управления страной и ее народным хозяйством.

Далее я писал, что «вопреки теоретическим ухищрениям многих политэкономов, всячески восхвалявших «государственную социалистическую собственность», утверждавших, что она, эта собственность, являясь «всемирной, исключает наемный труд и эксплуатацию человека человеком», жизнь показала, что «именно в условиях господства этой собственности работники вступают с администрацией предприятий, представляющей интересы государства, в отношения купли-продажи рабочей силы. Но, в отличие от капиталистического хозяйства, где признается общеизвестное положение о свободной купле-продаже рабочей силы и где профсоюзы стоят на страже интересов своих членов, в СССР в течение многих лет отрицалось марксистское положение о том, что заработная плата есть превращенная форма стоимости рабочей силы, а ее уровень должен обеспечивать нормальное воспроизводство этого специфического товара». Но в СССР фактическая заработная плата многочисленных слоев трудящихся, занятых на государственных предприятиях и в учреждениях, была существенно ниже прожиточного минимума и не обеспечивала нормальное воспроизводство.

В этой же статье я впервые писал о том, что наряду с госкапиталистической существовали еще два вида эксплуатации трудящихся:

«В еще худшем положении находились трудящиеся, занятые в колхозах, где господствовали наихудшие формы феодальных отношений. Беспаспортные колхозники, лишённые элементарных прав граждан, не могли уйти из деревни и таким образом избавиться от своей феодальной повинности

трудиться почти без всякой оплаты в колхозе. Главным условием поддержания жизни для них оставался дополнительный труд в личном подсобном хозяйстве...

Наряду с этими видами труда (на госкапиталистических предприятиях и в феодальной деревне) в СССР существовал еще более страшный дармовой принудительный, по сути рабский, труд заключенных в сталинских лагерях, в которых одновременно находилось 10–13 миллионов человек.

Между тем, на верхней ступени этой общественной пирамиды сосуществовавших формаций находились привилегированные группы административно-командной системы, осуществлявшие управление так называемыми «социалистическим» государством: работники партийного аппарата, министры, их заместители и помощники, руководящие сотрудники органов государственной безопасности и внутренних дел, суда и прокуратуры, директора предприятий и др. Уровень их жизни обеспечивался не только заработной платой и другими доходами, но и значительными натуральными благами (бесплатный личный транспорт, дешевые и благоустроенные квартиры, дачи, высококачественное дешевое питание, лучшие больницы и поликлиники, санатории, дома отдыха и т.п.) и был совершенно несопоставим с уровнем жизни рабочих, крепостных колхозников и, конечно, вымирающих рабов Гулага».

В статье приведены данные о сложившейся в стране дифференциации доходов различных категорий трудящихся, фактическом разрыве между минимальными и максимальными размерами доходов. Далее в статье говорится: «Монопольное положение государственной нормы собственности создало условия для построения казарменного социализма, люди в котором обрекались на несправедливость, на обязательное подчинение вышестоящей власти, трудящиеся не могли куда-либо уйти от диктатуры государственной собственности, вернее от тех, кто ею фактически распоряжается. В течение 15 лет, с 1940 по 1955 г. нельзя было даже поменять место работы, перейти из одного государственного

предприятия или учреждения в другое без реальной опасности попасть на самую низшую ступень жизни — в рабские лагеря. После отмены сталинских законов (что произошло только через 20 лет после окончания Великой Отечественной войны и через 3 года после смерти диктатора) открылась возможность перехода из одного государственного предприятия в другое. Но полная зависимость от вездесущей единой формы собственности исключала возможность выбора места приложения своего труда, лишала человека элементарной свободы, которая существует во всем цивилизованном мире. Вот эта сложившаяся за годы «строительства социализма» система в послесталинское время начала постепенно разрушаться. Но ее реальное преобразование стало возможным только в период радикальной реформы, с появлением предприятий различных форм собственности (государственных, кооперативных, коммунальных, арендных, смешанных, частных)».

В статье я внес существенные поправки в определение заработной платы, которое ранее формулировал в своих книгах, статьях, в том числе в статьях, опубликованных во втором и в третьем изданиях Большой советской энциклопедии. Подверг критике «концепцию организации оплаты труда в народном хозяйстве в условиях регулируемых рыночных отношений», разработанную Госкомтрудом СССР и НИИ труда в 1990 году. В ней ясно выражалось стремление еще более усилить «регулирующую роль государства» даже по сравнению с тем, что было в СССР в период максимального господства административно-командной системы. В то же время в Концепции почти полностью были обойдены такие совершенно необходимые в условиях рыночной экономики элементы оплаты труда рабочих и ИТР, как участие в прибылях, выплаты дивидендов по акциям и др. (Эта концепция вполне соответствовала практике сдерживания перехода к рынку, которую фактически осуществляло тогда правительство Рыжкова и Председатель Госкомтруда Щербаков.)

Статья была опубликована в журнале «Вопросы экономики» в июле 1991 года, уже после того, как Москва проводила в последний путь А.Д. Сахарова.

За день до похорон я был на траурном заседании, посвященном памяти А.Д. Сахарова. Там выступали с речами и воспоминаниями ближайшие друзья и соратники Андрея Дмитриевича — академики, писатели, депутаты Верховного совета. После завершения заседания меня пригласили принять участие в Почетном карауле на панихиде у гроба Сахарова. Я никогда не видел, чтобы кого-либо так провожали в последний путь: поток идущих был бесконечен. Казалось, что его провожает вся Москва. Люди несли его портреты и транспаранты, на которых были написаны слова любви и прощания.

Я стоял в почетном карауле с писателем Даниилом Граниным. Потом я прочел его послесловие к книге А. Сахарова «Мир, прогресс, права человека». Это послесловие Андрей Дмитриевич прочел за полтора дня до смерти. Вот последний абзац этого послесловия, которое Сахаров успел прочесть: «...Феномен Сахарова разителен. Нравственная требовательность его оказывала и оказывает очищающее влияние, ведь есть, у кого брать пример. Такие люди, как бы ни было их мало, какой бы ни были они редкостью, помогают нам в нашей каждодневной нелегкости нашей жизни, они восстанавливают веру в красоту, которая может спасти мир».

* * *

А сейчас расскажу о том, как мы с женой решились уехать, покинуть Родину. Когда наша дочь Инна с маленькими внучками, Мирой и Гилей, решила уехать в Израиль, мы не стали ни возражать, ни советовать, хотя, признаюсь, эта идея была мне не по душе. Они начали активно изучать язык иврит. Потом им пришел вызов. Инна настаивала, чтобы и мы ехали вместе с ними. Я совершенно не был готов к такому повороту событий. Дочь настаивала, говорила, что без нас она не может уехать. Я ответил: «Вы поезжайте, а мы при-

едем потом, когда-нибудь, когда будет принят закон Верховным советом СССР о свободном выезде и въезде».

Инна поверила моему слову. Я обещал, но надеялся, что мне не дадут разрешение выехать из страны потому, что, как мне казалось, я еще нужен и институту и стране. Дочь и внучки уезжали. Мы стояли на платформе Киевского вокзала Москвы и смотрели на них, на наших любимых, которые на площадке вагона, плотно прижавшись друг к другу, печально смотрели на нас, своих родителей. Поезд тронулся и медленно отходил от перрона, от Москвы, от нас. Думалось, увидимся ли еще когда-нибудь?

Они уехали. Я продолжал работать в институте. Но каждый день мы думали о них, о наших детях, уехавших в далекую, незнакомую страну, об их жизни там, в стране, окруженной врагами, в пяти километрах от границы. Вскоре началась война США с Ираком. Газеты, радио в телевидение ежедневно сообщали об обстрелах Израиля. Мы беспокоились, как они там живут, наши девчонки.

Мы тогда еще не знали, что наши дочь и внучки быстро и в совершенстве овладеют языком, почувствуют себя полноправными гражданами, полюбят страну, ее природу, людей, историю. Дочь успешно закончит курсы и станет преподавателем английского языка в школе и иврита в школе для взрослых. Каждый день моя жена Леша говорила о том, что надо скорее ехать к ним, к нашим детям, надо подавать заявление и просить разрешение, пока эти разрешения еще дают. Инна часто звонила по телефону, очень беспокоилась о нас. Она и внучки Мира и Гиля каждый раз спрашивали, получили ли мы вызов, подал ли я заявление об уходе с работы, когда же мы, наконец, к ним приедем.

Об этом же они спрашивали и в своих письмах. В письмах были цветные фотографии наших девчонок на фоне зеленых деревьев, красивых водопадов. И опять: «Когда, когда вы приедете? Мы вас ждем, ждем!»

Я решил, мне уже 77 лет, все равно пора переходить на пенсию, пора закругляться... Первым делом надо было

отказаться от допуска к секретным документам. Я написал заявление на имя директора Л.И. Абалкина. В нем я писал, что уже более 5 лет, с тех пор, как не заведую сектором, не пользуюсь допуском. Вскоре я узнал, что директор сказал начальнику первого отдела: «Если Ефим Львович не хочет быть засекреченным, снимите с него секретность».

В это время пришел вызов, но прежде, чем идти в ОВИР, я решил, что лучше будет для меня и для института, если я оформлю переход на пенсию. 20 июня 1991 года через 55 лет после того, как я пришел в институт, я написал заявление и пошел с ним к заместителю директора Б.З. Мильнеру. Борис Захарович удивился: «Зачем вы уходите на пенсию?» Я ответил, что устал и не хочу больше работать. «Тогда идите в консультанты! А может быть, вы хотите уехать?»

Что-то мешало мне сказать ему правду. Он не хотел подписывать приказ о моем переходе на пенсию и предложил сначала пойти к Леониду Ивановичу. Я обещал, что потом пойду к директору. В тот же день я зашел к Л.И. Абалкину. Он, как всегда, вышел из-за стола, пошел ко мне навстречу и сказал: «Я слышал о вашем решении. Знайте, как только вы отдохнете, приходите назад, и я вас немедленно приму на работу». Мы попрощались.

Через несколько дней мы с Лешей в жаркий июньский день, а это было 28 июня, сдали в ОВИРЕ все документы — анкеты, фотографии, справки. Расторопный работник этого учреждения спросил: «Ну что, поехали?»

И все-таки я еще надеялся, что мы не поедем, что нас не отпустят. А пока там разбирают наше заявление, смотрят документы, мы решили поехать в дом отдыха. Прошло три месяца. Я позвонил, на всякий случай, в городской ОВИР. Мне неожиданно ответили: «Да, положительное решение принято 3 сентября».

Ну а потом начались хождения — в посольство, в собес, в военкомат, отбор самых любимых, самых необходимых книг, снова в Институт экономики. В институте, оказывается, никто ничего не знал, никто не спрашивал в дирекции обо

мне, видимо, было не до меня. Оформление нашего отъезда совпало с августовским путчем. А может быть, была команда не задерживать пенсионеров, кто знает?

Наши сборы проходили быстро, в небывалых темпах. А зачем надо было так спешить? Мы не успели попрощаться со многими близкими людьми, с любимой родной Москвой. Мы спешили, может быть, потому, что хотелось скорей броситься в эту неизвестность, как хотят скорее переплыть холодную, бурную реку.

В посольстве нам быстро продали два билета на первый прямой рейс до Тель-Авива на 19 ноября. Билеты на руках, а дел оставалось еще много: надо уложить вещи, ничего не забыть, при этом нельзя брать ни одного лишнего килограмма.

Распрощались с Маней и другими родственниками. Все в спешке. А еще надо попрощаться и поговорить с сыном Виталием, моим близким другом, который долгие годы был моим единомышленником, попрощаться с внуками, друзьями, позвонить, позвонить по большому списку телефонной книжки.

Дни и часы бегут еще быстрее, чем всегда. А как жалко оставлять все эти родные, близкие книжные полки! Каждую из этих книг я когда-то приносил домой и надеялся, что когда-нибудь сумею их прочитать. О, как много их остается не прочитанных мною! И вырезки из газет за много лет. А вот десятки исписанных тетрадей. В них не только «фактический материал» для моих работ, но и мысли, размышления, предложения, в них же и стихи Галича и некоторых других любимых. А вот стоит огромный архив. Ему больше 50 лет. Все, все остается здесь, остается навсегда.

А увижу ли я когда-нибудь своих любимых и родных — старенькую сестру Маню и ее мужа Гришу, и как они тут будут без меня? Мой сын твердо решил никуда не ехать. Я его понимаю, хорошо понимаю, не надо ему ехать из своей страны, от любимой работы...

День отъезда был особенно тяжелым, сумбурным, трагичным. На аэродроме мне было так тяжело и горько из-за

того, что уезжаю, обидно, что не сумел попрощаться с домом, страной, Москвой.

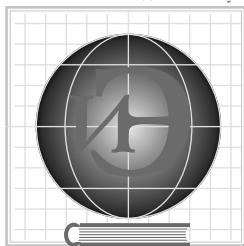
Но, с другой стороны, разве можно было так распрощаться, чтобы на душе было хорошо и спокойно, после того, как этой стране я отдал всю свою жизнь и всю душу? Видимо, нельзя.

...Таможня. Взвешивание. Требование вернуть лишние вещи, какие-то ложки, подстаканники... Мне все было безразлично. Мы прошли в зеленый коридор. Самолет нас ждал. Мы поднялись. Мы улетели. Куда? Зачем?

8 сентября 1992 г. — 10 сентября 1993 г.
г. Кирыят-Шмона



Российская академия наук



Институт экономики

Редакционно-издательский отдел:

Тел.: +7 (499) 129 0472

e-mail: print@inecon.ru

Сайт: www.inecon.ru

Маневич Е.Л.

Воспоминания о Родине, войне и мире

Оригинал-макет *Валериус В.Е.*

Редактор *Полякова А.В.*

Компьютерная верстка *Сухомлинов А.Р.*

Подписано в печать 24.03.2016. Заказ № 13

Тираж 300 экз. Объем 12 уч.-изд. л.

Отпечатано в ИЭ РАН

ISBN 978-5-9940-0531-6



9 785994 005316